

Ночной взгляд

Автор:

[Дарья Бобылёва](#)

Ночной взгляд

Дарья Леонидовна Бобылёва

Самая страшная книга

Дарья Бобылёва – восходящая звезда не только литературы ужасов и мистики, но и литературы вообще.

Выпускница Литинститута им. Горького, член Союза писателей Москвы, ведущая литературных курсов.

Ее талантом восхищаются как критики, так и читатели.

Ее дебютный роман «Вьюрки» стал бестселлером и вошел в лонг-лист сразу четырех крупных премий: «Большая книга», «Ясная Поляна», «Интерпресскон», «Премия АБС», а права на экранизацию куплены сразу после выхода книги.

У Дарьи Бобылёвой свой взгляд на наш мир. Особый, присущий только ей, позволяющий заглянуть за изнанку и увидеть то, что скрыто, – ночной взгляд.

«Ночной взгляд» – это сборник малой прозы, включающий как уже известные произведения автора, так и совершенно новые, ранее нигде и никогда не публиковавшиеся рассказы.

Содержит нецензурную брань.

Дарья Бобылёва

Ночной взгляд

Сборник

© ООО Дарья Бобылёва, текст, 2019

© Татьяна Веряйская, обложка, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Старшая сестра

Ближе других к реке в нашем дворе стоял девятиэтажный «сталинский» дом, с виду монументальный, но на самом деле хрупкий, как песочное тесто. Однажды в нем меняли трубы, и вместе со всем прочим срезали ржавый радиатор в подъезде, на первом необитаемом этаже. В стене тут же образовалась трещина, которая стала стремительно расширяться и ползти ввысь. Из нее сочилась мутная вода, пахнувшая плесенью. Как будто дому нанесли рану, задев его сокровенные жилы. По ночам он скрипуче стонал и вздрагивал – по крайней мере, так утверждали жильцы, просыпавшиеся от звона фамильного хрусталя в буфетах. По двору пополз слух, что в ЖЭКе установили: дом медленно, но верно разрушается, разламывается пополам, и одна половина сползает с береговой возвышенности в реку, и поделаться ничего нельзя.

– Доремонтировались! – причитали дворовые бабушки. – Стоял себе и стоял, зачем трогали?

Трещину стягивали специальными скобами, замазывали – ничего не получалось, дом выплевывал инородные тела. Так бы он и погиб, а с жильцами случилось бы самое страшное – переселение прочь из нашего двора в ледяную пустыню каких-нибудь Черемушек с их неодушевленными многоэтажками, там бы они все и

сгнули. Но, на счастье, их стенания достигли ушей старейшего работника, даже, если можно так выразиться, краеугольного камня нашего ЖЭКа – не зря же его Петром Васильевичем звали, что при должной фантазии можно перевести как Камень Царский. Петр Василевич давно отошел от дел и посвятил остаток дней безгрешному безумию: отправился, как давно мечтал, в кругосветное плавание на собственном балконе, оборудовав его штурвалом, всякими морскими приборами и ежевечерне кидаемым соседям на «kozyрек» сувенирным якорем на веревочке. С балкона он и крикнул, что батарею надо вернуть на место, причем ту же самую вернуть, ржавую.

– Ибо держится на ней дом и ныне, и присно, и во веки веков! Вредители! – добавил Петр Васильевич и бросил якорь.

И отчаявшиеся жильцы добились того, что батарею вернули на место, да еще приковали для надежности к стене дополнительными железками. И дом перестал разламываться и сползать в реку, а трещина позволила наконец залить себя цементом.

А мы усвоили, что всякий ремонт – зло.

В этом самом доме, на третьем этаже, была большая квартира, населенная тремя неведомо кем приходящимися друг другу бабушками: Вера красилась в морковно-рыжий и любила крупные броши, Надежда ходила с элегантной тростью и уже не считала нужным краситься, а у Клавдии, самой старшей, волос не было вовсе, и на голой бежевой голове она носила сложно намотанный тюрбан. Старушки мирно вязали что-то из разноцветных ниток каждая в своей комнате, осенью вместе варили на кухне яблочное варенье, а зимой пили с ним чай – опять каждая в своей комнате. Вот только старушек было три, а комнат в квартире – четыре. И на дополнительную жилплощадь никто не претендовал, хоть Клавдия, к примеру, и ютилась в совсем крохотной комнатке, которую называла, подхихикивая, «мой гробик». Лишняя комната уже много лет была заперта.

У нас поговаривали, что это та самая комната. С кладовкой.

Когда-то – как обычно бывает в таких историях, мы не знаем точно, когда, знаем только, что между последней большой войной и первым космонавтом всё случилось, – жила в этой квартире образцовая семья: папа, мама, старшая дочь Зина и наследник Павлуша. Папа был военный, а мама – красавица, дочь старого большевика, мирно и в почете скончавшегося. Мама с папой души в Павлуше не чаяли, обряжали в матросские костюмчики, задаривали игрушками, целовали в каждую нежную складочку не расправившейся еще, на вырост природой выданной кожи. И тихоню Зиночку, конечно, любили, как же не любить, ведь дочка, ведь учится хорошо, ведь говорили врачи, что слабая здоровьем мама никого уже больше после нее не родит. Зина же любила шить, иногда засиживалась допоздна, увлекшись какими-нибудь лоскутками. Мама говорила:

– Спать иди, а то школу проспичь. Будешь плохо учиться – никуда тебя не возьмут, только в швей-мотористки.

Сидевший у мамы на руках Павлуша начинал смеяться и подпрыгивать – ему ужасно нравилось слово «мотор-р-ристички». Мама тоже смеялась. И от этого рассыпчатого домашнего смеха начинала улыбаться и Зина, пряча поспешно свое рукоделие в сундук. Хоть и не прочь она была стать швеей, и ничего в этом обидного не было – обидно было скорее то, что мама над ней смеется, – Зина была уже большая, одиннадцать лет, и все понимала, знала, что мама ей добра желает, что маме виднее.

А еще Зина мечтала о кукле. О большой красивой кукле, чтобы шить ей платьица и юбочки, и делать шляпки, и заплетать ей косы. Когда они с мамой ходили в «Детский мир», чтобы купить Павлуше железную дорогу к Новому году или Зине школьную форму, она всегда останавливалась в кукольном отделе. Да что там останавливалась – застывала, обмирала, прирастала к исшарканному магазинному полу и во все глаза глядела на легионы пластмассовых красавиц, вдыхала запах – новенькие куклы, пухлощекие милые девочки, обладали особым сладковатым химическим ароматом, еще одним напоминанием об их нечеловеческом происхождении.

– У тебя же полно всего, – пожимала плечами мама, не видевшая разницы между жалкими пупсами, мягкими игрушками – и настоящей куклой. – И ты уже большая. Хочешь, возьмем тебе краски?

Краски Зине были совершенно не нужны, но она послушно кивала.

В общем, хорошо жила семья, на широкую ногу, не стесняясь того, что жизнью довольны. Яркие, шумные, мама светлое всегда носила, платья шуршащие, с кружевом, папа молодцеватый, в орденах, Павлуша толстенький, крикливый, глаза пуговками, и Зина рядышком – спину держит прямо, бантики на косах ровные, колготки на коленке заштопаны, но искусно так, и не видно почти... Перешептывались во дворе, что хорошо-то оно все хорошо, но поостеречься бы им, поберечь свое счастье, чудом ухваченное, от чужих глаз. Ведь глаз со слезой – всегда дурной. А они не суеверные были, посмеивались только.

И пришел к ним как-то в гости один человек, Щуплецов была его фамилия. Он маму знал с давних-давних пор, когда мама была еще старшеклассницей с талией «в рюмочку». Дружили они крепко, гуляли, на крышу школы лазали, ребята поменьше их дразнили женихом и невестой, а мама рдела и глаза опускала. А потом война, Щуплецов на фронт отправился, как все, и пропал без вести. А потом – столько всего, что мама о нем и думать забыла. Потом победили, потом она с папой познакомилась – видный, при орденах, все девицы по нему томились, а он ее выбрал. Сколько уж лет прошло, и вдруг Щуплецов объявился. С чемоданом, будто только что с вокзала, бутылкой и кремовым тортом. Одна нога у него теперь была деревянная, на ремешках – он показывал папе, как крепится, тот очень заинтересовался. С папой они как-то сразу подружились, выпили, песни пели, мама уж не знала, как гостя выпроводить. Наконец кончилось все, до капельки, Щуплецов собрался уходить на нетвердой своей ноге, и уже в прихожей вспомнил:

– Я ж детям... я ж гостинцы принес!

Павлуше досталась машинка, а подарок для Зины он все искал, искал в чемодане, ворчал себе под нос, Зина уж сникла – забыл, наверное, ну и ладно, она уже большая. И тут Щуплецов достал из чемодана куклу с блестящими черными кудрями. Лицо у куклы было нежное, задумчивое, почти взрослое. В крохотном приоткрытом ротике виднелись белые зубки. Оттопыренными пальчиками кукла будто придерживала в кокетливом книксене платье с оборками. Зина такой роскоши сроду не видывала. Похолодев от восторга, она молча схватила куклу, и та, широко распахнув изумрудно-зеленые глаза, в которых перламутровые лучики разбегались от зрачка, как велосипедные спицы, мелодично проныла:

– Ма-ма!

– Придумают же. Трофейная, что ли? – заинтересовался папа, взял у Зины куклу, задрал платьице и принялся разглядывать короткое гладкое тело. – Точно, трофейная, тут клеймо нерусское... Ве... Ва...

– Мировая вещь, – подмигнул Зине Щуплецов.

Подошла мама, тоже уставилась, хмуря тонкие брови, на выдавленные у куклы на боку мелкие латинские буквы.

– Тут затерто. Ве, эн, «дэ»... Ванд... Может, Ванда? Имя такое есть – Ванда. И почему трофейная, вот, видишь, над «эн» – вроде наша звездочка.

Папа прищурился, пытаясь разглядеть звездочку.

– Ванда, – выдохнула Зина и умоляюще протянула к кукле руки.

– Смотри, не сломай, – сказал папа, отдавая ей Ванду, и пошел провожать Щуплецова.

Больше тот не приходил, опять куда-то провалился.

А у Зины наступило счастье. Поначалу она даже ночью просыпалась, включала лампу, чтобы поглядеть в изумрудные глаза Ванды, и снова, как в первый раз, холодела – вот оно, счастье. Бархатистый на ощупь материал, из которого была сделана кукла, приятно теплел под пальцами, Зина гладила ее и засыпала, прижавшись щекой к округлой, чуть согнутой в локте ручке. С куклой она отныне не расставалась, спать укладывала рядом с собой на подушку, шила ей обновки из лучших лоскутов. Во двор выносить боялась, хотя очень тянуло похвастаться перед другими девочками – но ведь захватают, сломают или того хуже – не стерпят и украдут. Зато сажала Ванду за обеденный стол и сосредоточенно кормила с ложечки – это она-то, взрослая Зина, которая уже почти перестала верить в то, что игрушки все-все понимают и оживают по ночам! Мама, отвлекаясь, в свою очередь, от кормления Павлуши, делала Зине замечания: за столом нужно есть, а не баловаться, убери локти, убери куклу, испортишь ведь, а она дорогая, может даже и заграничная. Зина переглядывалась с Вандой, и в уголках кукольного ротика ей чудился изгиб еле

заметной улыбки.

Как-то мама заглянула поцеловать Зину перед сном. Отодвинула куклу, которая лежала, как всегда, на подушке, наряженная в новое, с иголки, синее платье.

- А я, когда вырасту, буду красивая, как Ванда? - сонно пробормотала Зина.

- Будешь, - ответила мама и машинально посмотрела в зеркало - при слове «красивая» она всегда смотрела в зеркало и делала губами так, будто размазывала помаду.

- А умная, как Ванда?

Мама рассеянно улыбнулась:

- Какая же она умная? Всего одно слово знает.

- Она много слов знает, - возразила Зина. - Она иногда ночью со мной говорит.

- Что говорит?..

- Непонятно. На каком-то другом языке.

- Все ты придумываешь. А врать нехорошо.

Вот фантазерка растет, подумала мама. Но вроде хорошенькая, так что это ничего, хорошеньким можно.

И все шло спокойно, своим чередом - до тех пор, пока с Вандой не вздумал поиграть наследник Павлуша. Зина всегда закрывала от него дверь в свою комнату, но в этот раз то ли Павлуша разобрался наконец, как правильно поворачивать ручку, то ли нехитрый замок не защелкнулся... Когда Зина вернулась из школы, ее «девичья горенка», как называла комнату мама, была разгромлена. Павлуша изрисовал розовые, в мелкий цветочек обои наслонявленным карандашом, распотрошил мишку и собачку, вытащил из

тайника жестяную коробочку с сокровищами и рассыпал заколки, брошки, бусины по всему полу, а самое главное – добрался до Ванды, которая очень развеселила его своими вскриками: «Мама! Мама!» Стремясь, как истинный естествоиспытатель, доковыряться до источника звука, Павлуша разорвал на Ванде платье, долго крутил и так и эдак, а потом решил посмотреть в голову и вдавил внутрь правый глаз, который перестал открываться.

Задыхаясь от горя и гнева, Зина схватила свое оскверненное сокровище в охапку, и Ванда издала страдальческий басовитый стон:

– Ма-а-ы-ы-а...

Видимо, голосовую коробку Павлуша ей тоже повредил.

Родители наследника не ругали, наоборот – умилялись и смеялись до слез над его разрушительным напором. Зина плакала, топала ногами, показывала царапины на гладкой куклиной коже, но все тщетно. Мама даже рассердилась на нее – Павлуша ведь просто играл, он не нарочно, он малыш, а Зина большая девочка и должна понимать...

– Всегда ему все! – завизжала Зина. Столько всего кипело у нее внутри, столько всего она хотела сказать – и что она всегда, сколько себя помнит, была обязанной все понимать большой девочкой, и что мама никогда не защищала ее так, как Павлушу, который всегда был малышом и всегда надо было ему уступать, и что она никогда не любила никого так, как Ванду, зеленоглазую царевну Ванду, и пластмассового мизинца которой не стоит дурацкий Павлуша, которому все всегда было можно. Много их было, этих «всегда» и «никогда», они сбились в горле горьким комом, и Зине только и оставалось, что выкрикивать срывающимся голосом: – Всегда ему все! Всегда!..

– Ты что, ревнуешь? – строго спросила мама. – Брату завидуешь? Завидовать нехорошо.

Ночью Зине приснилось, что Павлушина детская вся заставлена куклами, от пола до потолка, и даже кровать сделана из кукол, а на спинке вместо латунных

шишек – кукольные головы. Сияли стеклянные глаза, топорщились пышные юбочки, пахло сладко, как в «Детском мире». Зина вбежала в детскую с папиной гимнастической палкой и принялась крушить ею игрушечных красавиц. Они ломались легко, как-то даже с удовольствием, глазные шарики веселым фейерверком разлетались во все стороны, отскакивали от стен. И Ванда была где-то рядом, помогала Зине добивать своих сестер, бормотала что-то на своем непонятном языке, и слышно было, как легко постукивают по паркету ее крошечные ножки.

В буйном сне Зина ворочалась, вскрикивала, шарила руками по постели и все хотела прижать к себе Ванду, которую уложила, как обычно, на подушку. Но никак не могла ее найти.

Вскоре Павлуша заболел. Он стал вялым и плаксивым, а на его тугом тельце появилась странная сыпь: воспаленные кругляшки размером с копеечную монету, сочащиеся сукровицей. В поликлинике сказали, что это аллергия, запретили давать Павлуше все красное, все сладкое и еще почему-то хлеб. Павлуша не привык, чтобы ему отказывали во вкусненьком, и начал плакать еще и за столом. Он худел, а сыпи на коже становилось больше и больше. Мама сбилась с ног, добывая целебные травяные сборы, таинственное мумие и сахарные шарики от полумифического гомеопата, который вылечил от рака покойную тещу папиного начальника. В доме пахло больницей, тоскливо позвякивали пузырьки, пипетки и мерные ложечки. Папа переселился в отдельную комнату, потому что мама теперь постоянно укладывала Павлушу к себе в постель, Павлуша плакал, а папа не высыпался. Мама тоже похудела, перестала ходить и по гостям, и в театр, вообще перестала выходить из дома – только в магазин да в аптеку, – и больше не надевала легкие светлые платья, не красилась, весь день бродила по дому в халате, накинутом поверх ночной рубашки, с нечесаными волосами.

Сначала Зина наблюдала за происходящим с тихим одобрением, в котором даже себе самой боялась признаться. То, что наконец-то счастливчику Павлуше не повезло, наконец-то стерлась с его мордочки бездумная самодовольная улыбка, то, что он перестал быть для родителей источником неисчерпаемой радости и умиления, – это наполняло Зину благоговейной верой в существование вселенской справедливости. Не все коту масленица – а Павлуша прежде казался Зине ужасно похожим на довольного кота. А значит, будет и на Зининой улице праздник. Все равны, всем всего хватит, поровну отсыпят и горя, и радости,

надо только подождать.

И действительно, о Зине в тревогах за Павлушу забыли, но ей от этого стало только лучше. И постель можно было неровно застилать, и обедать спокойно, и вообще жить без маминых благожелательных бесконечных замечаний:

– Не чавкай. Не сутулься. Убери локти со стола. Не топай. Не трогай – сломаешь. Почему «четверка»? Будешь плохо учиться – возьмут только в швей-мотористки.

Но потом Зина случайно увидела через приоткрытую дверь, как мама купает Павлушу. И от этих торчащих ребрышек, птичьих косточек, свежего красного кругляшка на спине мучительная жалость больно уколола ее в сердце, словно врач ковырнул инструментом зуб и попал в самый нерв.

Зина проскользнула к себе в комнату, задвинула дверь тумбочкой, усадила Ванду на покрывало у стены, сама села напротив и спросила шепотом:

– Это ты с Павлушей делаешь? Ты?

Ванда, разумеется, молчала, разведя в стороны точеные ручки. А спустя несколько секунд вдруг раздался щелчок, от которого Зина так и подпрыгнула на кровати. Это распахнулся сам по себе правый куклин глаз, поврежденный любознательным Павлушей. Прозревшая Ванда смотрела куда-то сквозь Зину тем стеклянным взглядом, которым прохожие иногда бессознательно впиваются в сумерках в ярко освещенные окна или автомобильные фары.

Больше Зина не укладывала Ванду к себе на подушку, а потом и вовсе переселила ее в нижний ящик стоявшего в коридоре комода. Ящик запирался на ключ, но рассеянная и грустная мама сказала Зине, что нечего лезть со всякими глупостями, надо же понимать, и ключи она ей не даст – потеряются еще.

А спустя несколько недель, ночью, мама проснулась от неприятного влажно-свистящего звука. Он и раньше ей досаждал – она думала, что шумит вода в батареях. Но в этот раз звук был очень громким и раздавался где-то у самого маминого уха. Испугавшись в полусне, что это Павлуша, что-то случилось с Павлушей, мама зашарила рукой по одеялу и наткнулась на плотный

шевелиющийся клубок. И пока она сонно хлопала ресницами, пока осознавала, что происходит у нее под боком, буквально под боком, на нежной сатиновой простыне, – в памяти смутно, как при дежавю, мелькнуло летнее воспоминание. Она на даче, пьет кофе в тихом утреннем саду, что-то запуталось у нее в волосах и мягко щекочет щеку, она машинально, беспечно выпутывает – и вдруг понимает, что это какая-то многоногая хитиновая тварь с огромными жвалами...

Мама увидела Зинину куклу, оказавшуюся каким-то образом у нее в постели и прикинувшую к шейке Павлуши. И кукла двигалась, барахталась чудовищным насекомым, издавая тот самый влажно-свистящий звук. Мама закричала, кукла подняла голову, ядовитой зеленью вспыхнули в полутьме стеклянные глаза. Мама оттолкнула ее ногой, сбросила с кровати и дернула за шнур выключателя у изголовья.

В слепящем желтом свете кукла пыталась вскарабкаться обратно по одеялу, и крошечные зубы в ее приоткрытом ротике были алыми от крови. Заплакал проснувшийся Павлуша, кукла, подпрыгнув, схватила его за ногу, молниеносно сдернула на пол и стала затягивать под кровать. Мама тащила обратно, но в темное подкроватье Павлушу влекло с такой силой, словно все чудища из детских кошмаров, те, кто кусает за свесившуюся пятку и заползает под неподоткнутое одеяло, объединились, чтобы уволочь его в свое гнездо. Павлуша плакал, мама кричала, а ворочавшаяся под кроватью Ванда отчетливо, утробно рычала.

Наконец в спальню ворвался разбуженный отец семейства в полосатой пижаме. И застал картину нелепую, но, по прямолинейному мужскому истолкованию, вполне безобидную. Павлуша ревел под кроватью, куда забрался за черт знает как там очутившейся Зининой куклой. Кукла, которой и раньше доставалось от Павлуши, сломалась окончательно – теперь вместо гнусавого «мама» она издавала непрерывный низкий вой, напоминавший рычание рассерженной кошки. И без того измученные нервы бедной матери не выдержали – черт, опять же, знает, что ей там почудилось спросонья. Врачи, кстати, всегда говорили, что у нее очень хрупкая психика. Она пыталась вытащить Павлушу из-под кровати и кричала так истошно, словно у нее на глазах происходило нечто кошмарное и непоправимое.

Папа унес чумазого от пыли, перепуганного Павлушу к Зине в комнату, а сам долго и безрезультатно успокаивал маму, отпаивал валерьянкой. Но она замолкала лишь на те несколько мгновений, пока пила, стуча зубами о край

стакана, а потом снова принималась кричать. Зине велели сидеть с братом, но она то и дело подбегала к дверям родительской спальни, смотрела на маму, взрослую мудрую маму, проверявшую ее тетради и учившую манерам, – и не узнавала ее. Мама тоже не узнавала Зину, скользила по ее лицу полным жалобного звериного страха взглядом. А потом вдруг начала хлопать себя по голове, взъерошивая волосы трясущимися пальцами. И в криках ее прорезалось одно-единственное членораздельное слово:

– Жук! Жук!..

Пропел свою призывную терцию дверной звонок: это соседка сверху, Антонина, пришла возмутиться таким шумом среди ночи. Папа бросился в прихожую. Зина юркнула к себе в комнату, закрыла дверь и забралась на кровать к уснувшему Павлуше. За дверью надсадно, монотонно кричала мама.

К рассвету за мамой приехала скорая помощь. Зина, облокотившись на широкий подоконник, смотрела, как ползет по спящему двору длинная белая машина с печальной, как у спаниеля, круглоглазой мордой. Сидеть с Зиной и Павлушей осталась Антонина, рыхлая нестарая вдова с белыми кудельками над гладким лбом. Антонина курила в форточку и возбужденно обсуждала произошедшее сама с собой:

– Вон оно как бывает-то, не зарекайся. Как сыр в масле жила, а оно вон как. Бог дал, бог взял. Кого хочет наказать, того ума лишает. А раз лишил – значит, повод был. Вон оно как.

Ванду папа в сердцах выбросил в окно, когда увозили маму. Один из санитаров зацепил сапогом торчащую из-под кровати кукольную ручку, и Ванда, словно ухватившись за него, выехала из своего пыльного логова. Больная при виде куклы забилась в истерических конвульсиях, и папа, распахнув окно, швырнул проклятую игрушку в серые сумерки.

Зина и Павлуша спали как убитые, на одной кровати. И едва ли не впервые в жизни Зина крепко обнимала младшего брата.

К утру у Антонины кончились папиросы, и она выскочила в магазин, решив, что дети после такой ночи проспят до самого полудня. Но почти сразу же после ее ухода Зина проснулась: ей причудилось, что кто-то громко окликнул ее по

имени, и когда она открыла глаза, эхо этого зова еще отдавалось в голове, хотя вокруг царил нетронутая тишина. После несмолкающих маминых криков, к которым Зина успела за ночь странным образом привыкнуть, тишина оглушала, давила на барабанные перепонки.

Зина сходила на кухню попить и уже собиралась снова лечь, когда услышала какой-то новый, на этот раз безусловно реальный звук. Тихий, монотонный, он доносился из прихожей. Как будто мышь где-то скреблась. Подойдя поближе, Зина поняла, что звук идет из-за входной двери, и осторожно повернула ручку.

На коврике у двери сидела Ванда. Ее атласное платье из обрезков от маминой новой блузки промокло и испачкалось, нос и щеки были ободраны, в грязных волосах запутался окурок. Ванда потеряла весь свой заграничный лоск, и только в глазах по-прежнему сияла такая чистая, майская зелень, какую, наверное, можно увидеть только в весенних парках недостижимого Парижа.

– Уходи, – тихо приказала Зина.

– Ма-а-ама, – простонала Ванда и упала на бок, словно лишившись чувств.

Только тогда Зина увидела, что у куклы проломлена голова. И уже знакомая игла острого сострадания вновь уколола Зину больно и неожиданно. Ванда, ее любимая, сказочная, таинственная, мстительная, злая и прекрасная Ванда умирала...

В комнате у Зины была маленькая кладовка, где годами хранились припасенные на черный день крупы, орехи, консервы и приправы. В эту кладовку, на нижнюю полку, она и посадила Ванду – пусть живет, но больше никого не обижает, пусть подумает над своим поведением. Дверь запиралась на ключ, который всегда торчал в замке для удобства. Зина повернула его дважды, вытащила и бросила в мусоропровод. Ключ, звякнув, исчез в колодце, из которого тянуло вонючим холодом.

А Зина снова легла спать.

Мама так и осталась в больнице. Она все кричала что-то о ползающих по телу насекомых, о кукле, которая хотела утащить ребенка, о зеленых горящих глазах, которые чудились ей повсюду.

- Бегают! Глаза! Глаза! - причитала она, указывая на белую больничную стену.

Потом лекарства начали действовать, и мама затихла. Что-то в ней как будто перегорело, и она целыми днями лежала на койке, с сонным недоумением разглядывая потолок и постепенно превращаясь в неопрятную безумную старуху.

Во время очередного посещения папа показал ей фотографию: Зина и вытянувшийся, совсем худой Павлуша на фоне щедро увешанной серебристым «дождиком» елки.

- Доченька, - с усилием выговорила мама, смазав пальцем глянец с Зининого лица. - А мальчик... чей?

Странная сыпь у Павлуши прошла, но здоровье так и не выправилось. В нем и правда с трудом можно было узнать пухлощекого звонкого бутуза, любимца всего нашего двора. Рос он сутулым и бледным, двигался и говорил медленно, будто неведомая сила превратила воздух вокруг него в неподатливую толщу воды. И думал тоже медленно, приоткрыв рот от напряжения. А еще Павлуша не мог смотреть людям в глаза - от этого он весь съезживался, и у него начинали дергаться в жестоком тике то веко, то губа, то щека.

Бабка из многочисленного, чисто женского семейства, обитавшего в соседнем подъезде, как-то увидела Павлушу на лавочке и всплеснула руками:

- Порченный, батюшки!..

Семейство мастерски гадало всему двору на картах и вообще было известно тем, что умеет делать всякие вещи, в которые верить вроде бы и глупо, но если прижмет, то приходится. Бабка предложила Павлушу «отчитать», но папа на нее накричал и пригрозил сдать в милицию, если еще раз к детям подойдет.

Заботились о Павлуше Зина и вдова Антонина, которая очень прониклась соседской бедой и заходила теперь чуть ли не каждый день. Заходила обычно ближе к вечеру, чтобы застать папу, который допоздна пропадал на работе – все у него какие-то испытания были, заседания. И почти всегда вместе с папой врывался в квартиру резкий водочный дух.

Антонина не только приглядывала за Павлушей, но еще и варила супы, мыла полы, стирала – в общем, все хозяйство взяла на себя. Хорошая женщина, простая и ловкая. Вот только для Зины дом в присутствии Антонины переставал быть домом, ей становилось не по себе от того, что в родное, мамой свитое гнездо ворвался кто-то чужой и деятельный и за деятельность эту надо быть благодарной, но все равно смутно хочется прогнать чужака за порог, и стыдно, и неловко. Зина при Антонине цепенела и не знала, куда себя деть, а Антонина, недовольная тем, что сиротка дичится вместо того, чтобы под крылышко идти, принималась ворчать: грязью опять все заросло, об отце заботиться надо, взрослая барышня, замуж скоро, а ни пирога испечь не может, ни ковер почистить, ни трусы замыть, вон, с пятнами висят, срам.

– Надо, говорит, гигиену в доме соблюдать, барышня... Барышней зовет. И еще цацей. Я папу просила, чтобы сказал ей, чтобы она не... А он говорит: глупости. А мне стыдно, – жаловалась вечерами Зина, сидя у запертой кладовки, пока Антонина в гостиной накрывала папе ужин, звякала столовыми приборами и непременным графином с настоечкой. – Все я соблюдаю, и обед сготовить могу, и пол помыть, а она нарочно потом перемыкает...

Поначалу Зина, разумеется, и подумать не могла, что будет изливаться Ванде душу. Она долго не подходила к кладовке, старалась даже не смотреть на дверь и залепила ее вырезанными из журналов картинками. С самого видного места надменно глядела «Неизвестная» Крамского, чем-то на Ванду похожая. А потом как-то под конец долгого дня, в течение которого Зина успела схлопотать в школе «двойку», позаниматься с Павлушей по методике профессора-дефектолога, которого папе порекомендовал начальник, наскоро сделать уроки и вдобавок получить от Антонины замечание за то, что якобы не сливает за собой в туалете (а она сливала, и вообще это гнусно, гнусно!), – уже поздно вечером Зина долго и отчаянно пинала дверь кладовки, колотила по ней кулаками, срывала картинки и кричала, что это Ванда во всем виновата. Вот сейчас Зина подденет замок шпилькой и сожжет проклятую куклу, разорвет ее на кусочки, выбросит в мусоропровод вслед за ключом... Со шпилькой ничего не вышло, но Зина выплакалась, и ей стало легче. И в следующий раз, когда опять

стало нечем дышать от перехлестнувшей горло обиды, Зина уже знала, куда идти и что делать.

Тем временем Антонина все больше утверждалась в доме, иногда и ночевать оставалась в пустующей комнате – то за опарой догляд был нужен, то Павлуша температурил, то белье кипятилось на плите до поздней ночи. Утвердившись, она расцвела – сделала новую стрижку, стала густо подводить глаза, а потом запахла духами. Мамиными духами, заграничными, которые хранились в одном из ящичков под трельяжем как редчайшая драгоценность. Зина этот сладкий, бархатистый какой-то запах ни с чем бы не перепутала. Может, случайно, может, попробовала просто, думала она, морщась от мучительного стыда за Антонину. Но запах остался, а потом Зина увидела, как соседка капает из фигурного флакончика прямо себе в декольте. Тогда она не выдержала и сказала отцу, что Антонина ворует мамины духи.

Папа, отдуваясь и чавкая – а раньше он никогда не чавкал, – ел пожаренную Антониной отбивную с засоленными Антониной огурчиками, запивал зубровкой. И не успела Зина договорить, как получила мокрой от рассола рукой первую в своей жизни пощечину.

– Ворует!.. – взревел побагровевший папа. – Не смей! Да она нам жизнь спасла!.. Тебе, кобыле, жизнь спасла! Антонина – прекрасный человек!

Зина опять бросилась к кладовке, опять пинала и трясла дверь, и сама не заметила, как ярость сменилась бесконечным потоком жалоб.

– Они меня оба ненавидят, оба!.. – рыдала Зина. – Мама бы не позволила. Мама меня любит, ну когда же мама вернется...

– Ма-ма, – тихо, но отчетливо сказали с той стороны.

У Зины похолодели щеки. Но само слово было таким нужным, родным, что хотелось повторять его снова и снова. Особенно сейчас, когда в доме на него как будто был наложен негласный запрет.

– Да, мама, – закивала она и прислушалась. – Мама, мамочка...

– Ма-а-ама. – Голос куклы изменился, стал ниже и печальнее. Словно она осознавала свою вину и, возможно, даже раскаивалась.

Так Зина снова подружилась с Вандой. И теперь рассказывала ей обо всем: что папа обрюзг, глаза у него воспаленные, а перегаром от него теперь пахнет все время. Что он оставил надежду вырастить, вопреки всему, из Павлуши здорового парня, а недавно говорил, что, наверное, придется отдать его в интернат, тут ведь рядом, возле монастыря, есть хороший интернат для умственно отсталых. А Зину папа вообще словно перестал замечать, общается в основном с Антониной. С работы он уже не приходит так поздно, как раньше, и все с Антониной сидит, та его кормит домашним, а главное – наливает, наливает, только и слышно, как папа чавкает и из графина настоечки журчат. Недавно Зина спросила, когда уже они поедут навестить маму в больницу, а папа посмотрел на нее так, словно не сразу понял, о чем речь...

А потом как-то вечером у Зины кончились чернила, а надо было еще доделать уроки и позаниматься с Павлушей, который под терпеливым руководством сестры готовился к первому классу. Зина очень испугалась, узнав, что Павлушу могут отдать в интернат или в позорную школу для дураков, и теперь уже по собственной инициативе натаскивала его изо всех сил.

У папы в нижнем ящике письменного стола всегда стояло несколько запасных пузырьков с чернилами. За дверью было тихо, и Зина зашла в комнату без стука, уверенная, что папа, как обычно, засиделся на кухне со словоохотливой соседкой.

Свет был включен, на столе стояли почти пустой графин, тарелка с раскисшим салом и ваза с хризантемами. А на диване кто-то возился, пыхтел и сдавленно хихикал. Зине бросились в глаза белоснежный лифчик Антонины, из которого вываливалась исполинская грудь, и папина волосатая рука, эту грудь мнущая.

Еще не успев толком понять, что происходит, ничего не чувствуя, кроме огненного стыда и ужаса, Зина схватила вазу, выплеснула воду на пыхтящую человеческую массу и принялась хлестать обоих цветами – полетели белые лепестки, разлился в воздухе горький запах истерзанных хризантем. Зина кричала, что ненавидит, что расскажет маме, что это гнусно, гнусно, она расскажет всем, пусть все знают...

Папа вскочил, вырвал из ее рук хризантемы и молча схватил Зину за горло. Не понарошку схватил, для острастки, а по-настоящему, как врага, и хрящи гортани хрустнули под его крепкими пальцами. Зина бессмысленно уставилась на его плохо выбритый подбородок, и всплыло откуда-то в мутнеющей голове, как в детстве она, пораженная сходством между щетиной на папиных щеках и жнивьем на поле, сказала: «У папы на лице колхоз», – и все смеялись. Тут налетела разъяренная Антонина, хотела толкнуть Зину, вместо этого толкнула папу, тот ослабил хватку, Зина вырвалась и, судорожно хватая ртом воздух, побежала в коридор.

– Стоять! – отрывистым командирским тоном рявкнул отец ей вслед.

Она бросилась в прихожую, уже схватилась за дверную цепочку и вспомнила – Павлуша, если бежать, то беспомощного Павлушу надо захватить с собой. Но едва Зина влетела в свою комнату, как в дверь со стороны коридора тяжело врезался отцовский кулак.

– Ты чернила взяла?.. – медленно поднял голову от каракулей в тетради Павлуша.

Зина успела набросить крючок и задвинуть дверь тумбочкой. Крючок вылетел из разошедшегося дерева на втором рывке, тумбочка поехала вбок, скребя ножками по паркету. Папа не звал Зину, не требовал открыть – он прокладывал себе дорогу с молчаливым остервенением. Зина схватила Павлушу и залезла вместе с ним под стол. Больше в чистой, просторной, идеальной для выполнения домашних заданий комнате прятаться было некуда.

Павлуша наконец понял, что происходит что-то не то, и приготовился плакать. Зина прижала ладонь к его вечно мокрым губам:

– Кошка сдохла, хвост облез, кто слово молвит, тот и съест! Тс-с-с!..

Глупо было, конечно, надеяться, что папа не заметит их под столом. Он и заметил – сразу же, как вломился в комнату. Сунул руку под скатерть, схватил Зину за локоть. Зина забилась, цепляясь за ножки стола, разразился ревом испуганный Павлуша. Отец выволок Зину и рывком поставил на ноги. Она взглянула ему в глаза – и не узнала, как не узнала когда-то сошедшую с ума маму. Папа смотрел на нее не со злостью, даже не с ненавистью, а с деятельным

отвращением, как на крысу или таракана. Убьет, поняла Зина. Сейчас убьет.

У отца за спиной раздался оглушительный треск, воздух наполнился взвесью из пыли и мельчайших щепочек. Не отпуская Зину, отец обернулся – и тут же полетел в сторону, отброшенный с такой силой, что его тело врезалось в стену с тяжелым стуком. Зина, кашляя и прижимая руку к свежей ссадине на лице, неотрывно смотрело на то, что целеустремленно топало к ней по паркету...

Это была Ванда, огромная Ванда, кукла ростом с Павлушу, но совсем иных пропорций. Голова стала гигантской, а пухлые ручки и ножки из младенческих превратились в мощные, столбообразные. Треснувшая дверь кладовки распахнулась настежь, и Зина увидела, что там не осталось ни круп, ни орехов, ни консервов – только пустые мешки и вскрытые, буквально разорванные жестяные банки. Зина перевела ошалевший взгляд обратно на чудовищную куклу. Ну конечно, все правильно, чтобы так вырасти, нужно очень много есть.

Ванда шла к столу, под которым голосил от ужаса Павлуша. Зина наконец вышла из оцепенения и преградила ей дорогу:

– Нельзя!.. Не его!

Ванда уставилась на нее запылившимися зелеными глазами, остановилась на секунду... И, развернувшись, направилась к пытавшемуся встать на ноги отцу.

Он кричал безостановочно. Умолял Зину помочь, обещал убить, звал Антонину. Похоже, при ударе он сильно повредил спину и теперь не мог подняться. Ванда остановилась в шаге от него, он замахал руками и выкрикнул:

– Так не бывает!..

Ванда прыгнула, схватила его за голову и одним движением свернула шею.

В коридоре послышались шаги – успевшая одеться и испугаться Антонина надеялась потихоньку улизнуть. Ванда снова уставилась на Зину – внимательно, как большая собака, которая пытается угадать хозяйские намерения. Зина выдержала этот пустой стеклянный взгляд и кивнула. Ванда направилась к двери.

– Какая большая, – замороженно сказал еще красный и мокрый от слез, но уже почти забывший о пережитом страхе Павлуша.

– Она выросла, – севшим голосом ответила Зина. – Хорошо кушала и выросла.

Из коридора раздался отчаянный визг Антонины, перешедший в странное бульканье.

– Я тоже буду хорошо кушать, – пообещал Павлуша.

Зина кивнула и закрыла ему уши, чтобы снова не перепугался. За дверью выли и хрипели, слышался влажный мясной треск. Зина зажмурилась и попыталась представить, что все это происходит где-то далеко-далеко, а еще лучше – в фильме, на светящейся простыне экрана.

– А чего они делают? – неестественно громко спросил Павлуша.

– Игруют, – Зина прислушалась – вроде бы стало тихо. – Ты посиди пока, ладно? Я сейчас.

И медленно, на трясущихся ногах вышла в коридор.

Антонина лежала на полу неподвижной бесформенной кучей, из которой торчали ботики со стоптанными каблуками. Кукла копошилась рядом. Как только Зина сделала шаг за дверь, Ванда вскинула голову. Огромное лицо было в крови, изо рта торчал клочок кожи, похожий на куриные потроха.

– Ма-ма, – сказала Ванда и протянула руки к Зине.

Вытерпев прокатившийся от желудка до глотки спазм, Зина растянула губы в подобии улыбки и позвала:

– Ванда. Вандочка. Куколка...

Ванда встала и зашагала к ней, а Зина стала пятиться в сторону кухни.

– Вандочка моя хорошая...

Наконец пятка уткнулась в кухонный порожек. Зина бросилась к шкафу, нащупала в углу на нижней полке бутылку, в которой хранился керосин для старой лампы. Лампой давным-давно не пользовались, а керосин стоял – маме кто-то сказал, что он помогает при мигренях. Зина откупорила бутылку, порезавшись второпях собственным ногтем. Потом метнулась к плите и схватила коробок со спичками.

– Ма-ма. Ма-а-а...

В кухню вошла Ванда.

– Ты моя хорошая, ты моя Вандочка. – Зина шагнула ей навстречу и, размахнувшись, плеснула на куклу керосином. Стекло скользнуло из пальцев, и бутылка тоже полетела в Ванду, ударила ее по младенчески голому короткому туловищу. Прямо по боку, где виднелось многократно увеличенное клеймо, буквы на котором когда-то дали ей имя: перевернутая пятиконечная звезда и затертая, но теперь хорошо различимая надпись VINDICTA[1 - Мечь (лат.)].

Кукла остановилась. Керосин капал ей с челки прямо в глаза, она медленно моргнула, и желтоватая жидкость потекла из-под ресниц горячими слезами.

– Ма-ма?.. – в низком механическом гуле Зина ясно расслышала удивление и запаниковала: что я наделала, что же я наделала, надо было тряпку в горлышко вставить и тогда уже кидать, так танки бутылками с зажигательной смесью забрасывали, а теперь что?.. Вот дура, взрослая барышня, замуж скоро, а ничего не умеет.

На столе лежала папина «Правда». Зина схватила ее, свернула в трубочку и чиркнула спичкой. Голубоватый огонек сжался в точку и погас.

– Сейчас, Вандочка, – прошептала Зина и разревелась. – Потерпи, милая.

Наконец огонь побежал по газетным страницам, и Зина ткнула уже вплотную приблизившейся Ванде горячей «Правдой» прямо в лицо. Пламя глухо ухнуло, Зина зажмурилась и отпрянула.

– Ма-а-ама! – взревела Ванда, протягивая к ней огненные руки.

Зина почти физически ощутила, как они смыкаются вокруг нее, как течет по пузырящейся коже жидкий пластик. Она отбежала в противоположный угол и оттуда, обогнув горящую куклу, метнулась к двери. Ванда повернула голову на сто восемьдесят градусов. Ее ресницы и веки уже сожрал огонь, она смотрела голыми глазными яблоками и тянула на одной ноте:

– Ма-а-а-а-а...

Зина бросилась по коридору к своей комнате, с облегчением обнаружила, что Павлуша по-прежнему сидит под столом, и вытащила его. Павлуша тянулся к папе, спрашивал, почему папа молчит. Зина схватила его за руку и поволокла в прихожую.

Они выскочили на лестничную клетку, Зина захлопнула дверь, щелкнул замок. Запыхавшийся Павлуша смотрел на нее растерянно. Совсем как...

Что-то тяжелое ударилось в дверь с той стороны – раз, другой. Сквозь щели пополз черный дым.

– Там кто-то зовет, – неуверенно сказал Павлуша.

– Никого там нет, – Зина оттащила брата от двери и села на гранитные ступеньки, чувствуя, что сейчас просто упадет. – Никого. Там. Нет...

Вокруг уже скрежетали замки, хлопали двери – это остальные жильцы учуяли гарь и забеспокоились. На лестницу вышел сосед из квартиры напротив, небольшой деятельный старичок, и, увидев Зину и Павлушу, осведомился:

– Дети, а где пожар?

Квартира выгорела почти полностью. Пожарные нашли два обгоревших тела – очевидно, взорвалась старая керосинка, огонь распространялся быстро, и люди, не сумев выбраться, задохнулись в дыму. Подробнее расследовать не стали, поговаривают, что от военного начальства сигнал поступил все быстро и тихо

оформить. Человек в большом чине, женатый, партийный, вместе с посторонней дамой жизни лишился, и правда как-то нехорошо вышло... Зину, которая молчала как рыба и не отвечала ни на какие вопросы, и Павлушу приютили соседи, а потом за ними приехала тетя по материнской линии и увезла к себе – кажется, в Иваново. Один из пожарных нашел в квартире изумрудно-зеленый стеклянный глаз, отмыл его от копоти, подивился тонкой работе и подарил сыну. Тот долго и успешно играл глазом в шарики.

Квартиру отремонтировали, там поселились новые жильцы. И ничего необычного там больше не происходило.

Так что мы никак не могли взять в толк, зачем старушки Вера, Надежда и Клавдия в итоге заперли ту самую комнату с кладовкой. Может, что-то знали. Может, она была им действительно не нужна.

А может, мы все-таки ошиблись квартирой.

Тот, кто водится в метро

Анина бабушка была странная – маленькая, громкая и темная лицом, она любила пиво и курила на лестничной площадке папиросы. Не было в ней ни капли старушечьего смирения, надежды на то, что простят за теперешнюю елейную благодать прежние грехи и пустят в царствие небесное. Да и бабушкой она Ане приходилась неродной, вроде как – не совсем настоящей.

Баба Катя приехала в Москву за несколько лет до войны, откуда – бог ее знает. Устроилась, успела даже выскочить замуж и год прожить с тонкошеим молодым мужем. А потом грянуло, и мужа забрали на фронт, где он пропал моментально, как не бывало. Баба Катя и имени его никогда не вспоминала, только – «муж».

А ближе к концу войны к ней прибилась маленький Сеня, будущий Анин отец. Аня, когда в институте училась, все пыталась выяснить у бабушки, при каких обстоятельствах это произошло, но баба Катя говорила одно и то же, будто телеграмму диктовала:

– Голодали очень. А тут мальчонка. Звать, спрашиваю, как? Сеня. А мамка с папкой где? Ревет. Тощий, и шея грязная. Куда его? Я и взяла.

Потом подмигивала и быстро показывала пальцем на потолок:

– Он-то мне детей не давал. Вот я и сама взяла. От людей.

Семена баба Катя растила добросовестно, где только не работала, чтобы у мальчика все было – и гардеробщицей, и домработницей, и вахтершей, и юбки-кофточки шила на заказ. Сыном мальчика приучилась называть не сразу. Семен взрослел, с годами становясь все более похожим на приемную мать, гулял, некоторых избранниц даже решался показать бабе Кате, а жениться не торопился. Может, и потому, что жили все-таки тесно, в небольшой, довольно тихой коммуналке.

При знакомстве с потенциальными невестками, которых неизменно встречали пирогом, чаем и вишневым вареньем, и начали проявляться бабы-Катины странности. То есть, конечно, и раньше что-то такое бывало, но Семен не обращал внимания, то ли вправду не замечал, то ли из молодой головы быстро вылетало.

Одной подруге сына, после чаепития катавшей во рту вишневую косточку, баба Катя вдруг строго сказала:

– Не выплевывай, носи до полуночи. А в полночь плюнь из окна, да подальше. И вниз не смотри.

Другой молча дала куриное яйцо, заставила держать в руке довольно долго, потом стукнула яйцо ножом, глянула в щель, сказала: «Ну допустим», – и тут же пожарила себе яичницу. «Яичницу-единоличницу», – уточнила она, а недоумевающие сын с подругой ели пирог и переглядывались.

Третью не пустила на порог. Сказала, глядя ошарашенной девице отчего-то не в глаза, а в шею:

– А ты зачем? Тут не твое. Уходи.

И пока сын возмущался, а избранница готовилась заплакать, метнулась в комнату и сыпанула на порог и на гостей что-то белое.

- Дура бешеная! - разрыдалась избранница и ушла - естественно, навсегда.

А сын, задумчиво лизнув руку, на которую попало белое, удивился вторично - он-то думал, что суеверная мать отгоняет воображаемых своих бесов солью.

Но это был сахар.

Однако с избранницей Лизой, действительно вскоре ставшей бабы-Катиной невесткой, никаких проблем не возникло. На нее ничего не сыпали, ритуалов не проводили, и от странных замечаний баба Катя на этот раз воздержалась. Может, у нее случилось просветление, а может, она наконец поняла, что любимому Сене уже за тридцать, и подруг он приводит для знакомства все реже.

К тому же квартира у них уже была отдельная, полученная какими-то таинственными путями. Семен иногда почти серьезно говорил, что это крохотное трехкомнатное чудо мать им наколдовала.

Баба Катя была сдержанно приветлива, потчевала Лизу обязательным пирогом и даже похвалила ее новые туфельки.

Так что о том, что свекровь у нее немного сумасшедшая, Лиза узнала только после свадьбы.

Детей несколько лет не было, и молодожены уже беспокоились, но баба Катя говорила: по врачам не ходите, нервы не тратьте, всему свой срок. А о том, что срок настал, она догадалась, кажется, раньше будущих родителей - купила две бутылки пива и пригласила соседку, тоже любительницу, будто решила что-то отпраздновать.

На новорожденную Аню баба Катя посмотрела сначала оценивающе, как, скажем, на кабачок, выбираемый на рынке. Измученная молодая мать чуть не

устроила истерику, видя такое равнодушие, – в первые месяцы Аниной жизни она вообще постоянно нервничала и плакала.

– Годится, – внимательно изучив внучку, сказала баба Катя.

А потом, когда Аня немного подросла, начались у них любовь и дружба. Баба Катя Аню умывала, причесывала, кормила вкусненьким, выгуливала, очень рано научила читать. А главное – она постоянно что-то Ане рассказывала. Внучке нравилось, она иногда даже ручками всплескивала от восхищения, а баба Катя низким своим, прокуренным голосом что-то ей разъясняла и улыбалась – хитро и, как казалось невестке, лукаво.

Но когда Лиза вслушалась наконец в то, что говорит ее дочке баба Катя, – буквально за голову схватилась. Что баба Катя сильно чудаковатая, суеверная и даже что-то там себе колдует иногда, – это Лиза знала давно. И думала, что свекровь – деревенская, да и сумасшедшая немного, – верила сама всю жизнь в бабкины сказки, вот теперь внучке их и пересказывает.

А Лиза, как положено человеку из культурной городской семьи, чувствовала смутное уважение ко всяким истокам, традициям, «корням». И не возражала бы, если бы баба Катя по вечерам рассказывала внучке что-нибудь из Евангелия, или даже Торы (национальности баба Катя была неясной). Да пусть хоть сказки народные, про Ивана-дурака, кикимору болотную или Илью Муромца – все эти персонажи были в Лизиной голове крепко спутаны.

А оказалось, что баба Катя живет в каком-то собственном, безумном и густонаселенном мире. И рассказывает Ане про особенности этого мира, его обитателей, их повадки – подробно и увлекательно, как в передаче «В мире животных». Объясняет, как вести себя в разных случаях, которые произойти могут только в кипящем мозгу шизофреника.

Умостив Аню у себя на коленях, баба Катя говорила:

– ...и так и будешь ему навстречу идти, и ничего до последнего мига не подумаешь плохого.

- Какого мига? – заранее радовалась Аня.

- А когда поймешь, что человек знакомый, которого он тебе напоминает, помер давным-давно. А он тебя за память-то уже к себе и подтянул.

- И что?

- Память высосет, – и баба Катя делала губами такой звук, будто выпивала через дырочку в скорлупе сырое яйцо.

- У-у... – сердилась на чудище Аня.

- Ты ему скажи: «Память моя короткая да горькая, съешь – подавишься, отпустишь – забуду тебя», – учила баба Катя. – Он и уйдет.

- Побить его надо.

- Нет, бить не надо. Он не от людей, он всегда жил. Потому у зверей памяти ни у кого и нету. А теперь в города подался, тут ему и густо, и вкусно.

Бабы-Катины чудища жили не в старину, к примеру, или в деревне, на безопасном расстоянии. И то, чем она забивала внучке голову, не было похоже даже на деревенские былички – страшные истории про «всамделишные» встречи с лешаками, гуменными, банницами и прочими неуклюжими героями сельского фольклора. Пару таких историй, первобытно нелепых и жутковатых, Лиза слышала от собственной бабки.

Чудищами, по мнению бабы Кати, были населены и многоэтажные городские дома, и подвалы, и лифтовые шахты, и школы, и поликлиники, и общественный транспорт, и даже магазины, откуда, казалось бы, звон монет и свирепые выкрики продавщиц должны были навсегда изгнать все потустороннее. Обитатели безумного бабы-Катиного мира роились в нем густо, как пчелы.

- Вот ходишь по одной дороге часто – примечай, если кто тебе каждый раз навстречу попадается. Как идешь – он там. Тетенька, а может ребятеночек, а может кошечка, – бормотала, улыбаясь, баба Катя.

– А тетенька, может, там просто живет, – сомневалась Аня, вспоминая ярко раскрашенную алым и черным даму в шляпе, которая всегда, всегда попадалась им с мамой по пути в магазин.

– Может, и просто живет, – легко соглашалась баба Катя и цокала языком: левая косичка у Ани вышла толще правой, придется переплетать. – А может, и не просто.

– А тогда это кто?..

– А так – от места. От места взялся, и только тут ему и живется, уйти не может. Этих не бойся. Им смотреть надо во все глаза, что на их месте творится – на том и держатся. Увидит, скажем, как гостя желанного обняли, или как в морду дали кому-нибудь – на полгода вперед наестся.

– Глазища, наверное, – во какие, – и Аня снова вспоминала даму в шляпе и ее большие светлые глаза, печально глядевшие из траурных кругов подводки.

Баба Катя смеялась и кашляла.

– Да у многих и не поймешь, где глазища-то.

– Почему не поймешь?

– А потому что они... – и баба Катя кивала на окно, за которым шелестел темными пыльными листьями тополь. И Аня чувствовала благоговейный трепет перед старым тополем, из коры которого весной так бесцеремонно выковыривала прутиком разноцветных гусениц – ведь он, вполне возможно, был не просто так, а «от места».

О том, чтобы у самой бабы Кати попросить внучке голову не забивать, Лиза и подумать не смела. Пожаловалась маме, что свекровь пугает Аню всякими чудищами ненормальными, поплакала. Вторая Анина бабушка, культурная Зоя Ивановна, даже не поняла сначала, о чем речь, но потом, выслушав несколько примеров бабы-Катиных «сказок» (Лиза от волнения, конечно, все переврала), заволновалась. Полистала медицинскую энциклопедию – неприятно пахнувший

том в грязно-зеленой обложке – и заочно диагностировала у бабы Кати «чистой воды шизофрению с бредом». Чем еще помочь дочке, Зоя Ивановна не знала, потому что была она женщина деликатная, нерешительная и вдовая.

Лиза провела несколько секретных бесед с Аней. Объяснила ей, что бабушка рассказывает очень интересные истории про всяких сказочных существ, но это все выдуманное, и верить этому не нужно. Сама-то бабушка, может, и верит, и ей не надо говорить, что все ненастоящее, а то она обидится. Бабушка старенькая, ее нельзя расстраивать. И говорить ей, что мама сказала, будто все выдуманное, тоже нельзя. Надо просто помнить: это ненастоящее, и слушать так, вполуха, понарошку...

Аня смотрела на маму чистыми, пустыми глазами и чесала мизинцем нос. Слушать маму было неинтересно. То ли дело – бабу Катю.

Баба Катя стала поглядывать на Лизу с любопытством, насмешливо щуря небольшие темные глаза. У Лизы иногда от страха живот прихватывало: подозревает, знает, Анька проболталась... Как-то на кухне, когда вместе лепили пельмени, и даже Аня помогала из-под стола, баба Катя вдруг, ни с того ни с сего, хлопнула в ладоши у самого Лизиного лица, подняв белое мучное облачко. Оторопевшая Лиза молча развернулась и выбежала из кухни.

– Да не тебя ж гнала! – крикнула ей вслед баба Катя. – Дурища...

Семен свою приемную мать любил – и когда она чудила, и когда костерила его ни за что ни про что, и когда не соглашалась с очевидным, и когда они ссорились вдрызг из-за какой-нибудь глупости, вроде не прибитого до сих пор плинтуса. По-сыновнему любил, неярко и ровно, совсем как родной. Лиза давно поняла, что своей собственной семьи, отпочковавшейся, новенькой, у них не будет, с ними – точнее, с ним, с Семеном, – навсегда останется баба Катя. Лиза и не была против, сама всегда мечтала о «большом гнезде», боялась самостоятельности, когда никто не скажет, что делать, не поведет за ручку.

В общем, она боялась, мучилась – и все-таки пожаловалась как-то вечером, перед сном уже, Семену на бабы-Катины рассказы.

Семен тоже сначала не понял, о чем речь: ну, сказки, ну, рассказывает. Лиза смущенно забормотала у него под боком про того, кто водится на одном и том же месте, и питается тем, что на этом месте происходит, и вообще он – дерево. И на лунную дорожку нельзя долго смотреть, а то душа застынет, как холодец, и так и будешь потом с этим холодцом жить – медленный, спокойный, и не радуется ничему. А хлебные крошки нельзя со стола на пол стряхивать, потому что...

– ...потому что кто сеет печеный хлеб – тот войну посеет, – радостно подхватил Семен. – Помню, она и мне такое рассказывала. Много рассказывала... Что-то – народное, что-то – сама выдумала. Фантазерка она...

– Но Анька-то верит!..

– Да она и сама верит.

– Ей ладно, а ребенку маленькому каково каждый день слушать... А психика?

Семен, не удержавшись, хмыкнул в ответ на модное слово – «психика» в самой сердцевине своей несла сдвленный смешок.

– Да я тоже каждый день слушал. Ну, постарше немного был... И ничего, выдержала психика. Ты, главное, успокойся...

И Семен опять тихо засмеялся. Он вспомнил, как баба Катя часто после очередного рассказа смотрела на него внимательно и недовольно, и цокала языком: «Нет, не годишься ты...» Понимала, наверное, что не верит он ей ни чуточки.

Лиза попыталась успокоиться, и хватило ее ровно на полдня. Ближе к вечеру пошла выносить мусор, а у подъезда баба Катя дворовых кошек кормит. Кошек баба Катя очень уважала, а у Семена была на них аллергия, так что собственного зверя завести не получалось.

Баба Катя покуривала папиросу и смотрела, как благодетельствованные кошки, подняв хвосты трубой, отпихивают друг друга от еды. На Лизу она даже внимания не обратила. Потом дверь подъезда снова распахнулась, и оттуда

вывалилась соседка со второго этажа и извечный бабы-Катин враг Клавдия Степановна. Опираясь на клюку, она отекающей, тумбообразной ногой сбросила с крыльца трех кошек сразу.

- Опять приманиваешь, а они ссут.

- Все ссут, - спокойно ответила баба Катя и кинула кошкам еще куриных косточек.

Соседку ее довод разозлил окончательно.

- Приманивает тут! А кто тебе разрешил? Вредительница! Кошек кормит, а людям жрать нечего!

- Это тебе, что ли, жрать нечего? А пузень с голоду напух или ветром надуло? - огрызнулась баба Катя.

Лиза стояла за кустом сирени, с пустым уже ведром, и страдала. Слушать дребезжащую старушечью брань было тяжело и стыдно, а подходить она боялась - впутают еще в свой скандал.

Клавдия Степановна швырнула клюку в бабы-Катиних кошек и завопила:

- Потравлю! Завтра же всех потравлю к...

Баба Катя вдруг ощерилась, взъерошилась, еще больше потемнела лицом:

- А порчи не боишься?

Клавдия Степановна плюнула - демонстрируя, очевидно, насколько она не боится порчи и других суеверий.

Ушибленные кошки сбились у ног бабы Кати в плотный ком, мяукающий и шипящий, баба Катя тоже как-то выгнула спину и зашипела:

- Живо жилы заморожу... Печень желчью потечет...

И большая, рыхлая Клавдия Степановна, охнув, внезапно обратилась в бегство.

– Почечуи напущу! – хохотала баба Катя, придерживая дверь подъезда, пока соседка молча, бочком, ковыляла по лестнице к себе на второй этаж. – Клавдия! Палку забыла!

Семен тоже хохотал до слез, когда взволнованная Лиза пересказывала ему детали соседской ссоры. Лизе в бабы-Катином шипении почудилось что-то настолько страшное, что и она на месте Клавдии Степановны бежала бы сломя голову, а Семен повторял:

– Ну мать... Ну мать... Поч... почечуи напущу!.. Ну мать...

Вечером, перед сном, баба Катя опять хрипло ворковала над Аней – Лиза подслушивала у двери:

– ...шторки задергивай каждый раз, а то глядеть будут всякие. Ты не смотри, что живешь высоко. У них ноги длинню-ющие...

И Лиза стала жить в постоянном страхе – и за Анину психику, и перед бабы-Катиной не то «чистой воды шизофренией», а не то каким-то вроде бы и колдовством. Которое Лиза как материалист и человек образованный отрицала, но как женщина – немного, самым краешком, все-таки верила в него.

Семен работал инженером, уходил рано, приходил поздно, по выходным с гордым удивлением обнаруживал, что даже за неделю Аня ухитрилась и подрасти, и научиться новым «штукам», как он говорил (Лиза обижалась, дочь – не собачка, чтобы «штукам» учиться). Любил запеченную свинину по бабы-Катиному особому рецепту, вишневое варенье и сходить с друзьями в пивную – иногда. Смотрел хоккей. В общем, Семен был обычным, устойчивым человеком и существовал в собственном здоровом пространстве, куда бабы-Катины чудики доступа, видимо, не имели.

Скорбная Лиза надеялась, что муж заметит ее тайное страдание, чутко расспросит, поймет и, может быть, сделает что-нибудь – хотя предполагать, что даже любимый Сеня имеет на бабу Катю какое-то влияние, было странно. И

получилось совсем наоборот – Семена начала раздражать Лиза, вечно хлюпающая, будто у нее насморк, с горестным «шалашиком» приподнятых бровей. Он хотел возвращаться домой как в теплую, сухую нору, где его кормят свининой и вареньем, сплетают вокруг него мягкими женскими руками нежное кружево уюта. А о том, что Лиза молчаливо ждет расспросов и откровенного разговора, Семен даже и не догадывался.

Сначала стало больше хоккея и походов в пивную, потом заметно помрачневший Семен начал задерживаться на работе. На Лизу он теперь смотрел как-то отстраненно, разговаривать с ней старался поменьше – чтобы не захлюпала опять. А потом вдруг преобразился – стал веселым, шутливым, интересным таким мужчиной – даже брюшко как будто втянулось. Брызгался импортным одеколоном, рубашки сам гладил чуть ли не с линейкой, напевал что-то фальшиво-радостное – под острым взглядом бабы Кати, которая, как всегда, догадалась первой.

Аня, вопреки утверждению, что дети всегда чувствуют разлад в семье, ничего не замечала. Папа все так же читал с ней вместе книжки по выходным, сочинял простые задачи и ребусы, которые Аня решала, жуя в задумчивости кончик собственной тоненькой косы. К тому же Аню тогда заботило то, что происходило не в семействе, а в ее собственной комнате. Там появилась тень.

Это не была какая-нибудь посторонняя, новая тень. Это было сгущение теней уже привычных – от ящика с игрушками, от стула, от герани на подоконнике. Сначала тени сгущались под окном, рядом с той самой геранью. Они были неподвижны, но стоило Ане отвести взгляд или уткнуться в книжку, а потом посмотреть снова – темное пятно оказывалось ближе. Теперь оно уже прикидывалось, что его образуют, пересекаясь, тени от комода и от Аниных вещей, висящих на спинке стула. Отвернешься еще раз – пятно снова переместится. Аня выключала лампу в надежде, что крадущаяся тень растворится в темноте, но слабого света с улицы оказывалось достаточно, и пятно, уплотнившееся и даже увеличившееся, потихоньку подползло к шкафу. Тут Аня обычно пугалась и залезала под одеяло с головой, а потом как-то незаметно засыпала. Утром все тени были на своих местах – четкие, честные, безо всяких пятен.

Сначала Аня следила за вечерними путешествиями тени с интересом, потом начала побаиваться – вдруг это существо, как другие, тоже что-нибудь высасывает или крадет. На третьей неделе вынужденного соседства с тенью –

хотя она, может, и раньше появилась, просто незаметной была, – Аня пожаловалась бабе Кате.

Баба Катя удивленно приподняла одну бровь, долго Аню выспрашивала и качала головой. Потом, вечером, взяла полотенце и отправилась в Анину комнату, а саму Аню не пустила. Велела взять из цветочного горшка комок земли и скатать в ровный шарик, а на него прилепить листик фикуса.

– Только чтобы здоровый был, зеленый, без дырочек. Самый лучший бери.

Аня выполнила задание и пришла послушать, что делает баба Катя. Из комнаты доносились такие звуки, будто осу полотенцем гоняли.

– Да стекло тут, дурень, – ворчала баба Катя. – Сюда давай, ну? Кыш! Да куда ж ты... Ну пошипипи мне еще, пошипипи.

Хотя никто вроде не шипел.

Наконец баба Катя впустила Аню, взяла у нее земляной шарик и положила на подоконник, под форточку.

– Пусть лежит, пока не рассыплется, не трогай.

– Баба Катя, а оно от чего было – от людей или от места? – уважительным шепотом спросила Аня.

– Этот всегда был, – махнула полотенцем баба Катя. – Из леса в город забрел, заблудился. Думал, ты зверек какой, зайчишка. Они зверьков любят, в себе прячут. Этот безвредный.

– И я пока спала, он меня... прятал?

– Конечно, прятал. Чтоб волк тебя не увидел и не съел... Но если он еще вдруг придет – ты скажи. Нечего ему тут жить.

Тени в Аниной комнате снова стали вести себя хорошо, а если какая-нибудь вдруг начинала подозрительно шевелиться или темнеть – Аня грозилась ей пальцем и показывала на сухой комок земли под форточкой.

Но однажды вечером Ане показалось, что у батареи кругло, как котик, свернулось знакомое пятно. Она уже не боялась его, даже махнула в сторону батареи колготками:

– Кыш!

Потом вспомнила, что баба Катя велела сказать ей, если этот, безвредный, придет опять. Волоча зачем-то колготки за собой, Аня побрела по темному коридору к кухне, где баба Катя всегда до поздней ночи гремела, звенела, жарила, мыла и иногда курила в форточку.

Дверь была закрыта, за ней разговаривали, и еще вкусно шипело. Аня потопталась на месте и вдруг услышала тихий плач, через который прорывались какие-то невнятные, набрякшие слезами слова. Голос был мамин.

Зажурчало, звякнуло.

– Нет, я нет, спасибо... – и опять хныканье.

– Залей, успокоится.

Мама поплакала еще, заскулила – как щенок, которого Аня недавно притащила домой, а ей не разрешили оставить, – потом грохнул резко отодвинутый табурет, и баба Катя громко сказала:

– Верну.

Дверь распахнулась, и баба Катя чуть не сбила Аню с ног:

– А ты тут чего?

– Там опять этот... из леса...

Баба Катя, хмурая, быстрая, пошла в Анину комнату, посмотрела:

- Нет никого. Давай-ка ложись на левый бок и спи.

- А на левый почему?

- Сны сердечные будут, - строго пояснила баба Катя. - Давай спи. Нечего.

А Семен через несколько дней стал вдруг прежним - домашним, обычным, с брюшком. Терял Лизу за мягкие бока, шутил неуклюже - чтобы улыбнулась. Приходил вовремя, даже хозяйством занялся - починил наконец смеситель в ванной. А как-то вечером принес Лизе тяжелый, разваливающийся букет пионов - они долго стояли на столе у них в комнате, пахли тяжело и приторно, а Лиза наконец оттаяла.

Только у бабы Кати Семен долго был в немилости, и свинину по особому рецепту она для него не запекала еще несколько месяцев.

Лизин суеверный, липкий страх перед свекровью сменился молчаливым преклонением. Она не задумывалась о том, как именно была стерта из жизни Семена враждебная ее участница, ради которой он брызгался подарочным одеколоном. И была ли эта участница действительно настолько опасна, и нет ли тут обычного совпадения. Поверив без вопросов и сомнений в бабы-Катино благосклонное могущество, Лиза утихла и успокоилась. Она с радостной готовностью выполняла все просьбы и поручения свекрови, а потом молча смотрела на нее влюбленными глазами, ожидая новых указаний или, кто знает, даже снисходительной похвалы.

Правда, Лиза все-таки не удержалась и рассказала нескольким подругам о чудесном возвращении мужа в семью - хотя формально он из нее вроде бы и не уходил. Всякая порядочная жена, хоть раз пострадавшая, любит такие истории и рассказывать, и слушать. И одна подруга, из соседнего дома, попавшая в совсем отчаянное положение (любовница так хотела замуж, что намекала, будто беременна), решила. Взяла деньги, коробку шоколадных конфет, фотографию мужа зачем-то и явилась к бабе Кате.

Баба Катя чаем с вареньем ее напоила, конфеты они разделили поровну и с удовольствием съели, но ушла посетительница с деньгами, с фотографией и безо всяких надежд. Более того – поняв, чего от нее хотят, баба Катя так хохотала, что на кухню прибежали и Аня, и Лиза.

– Ой сил нету-у... – рыдала баба Катя, провожая расстроенную даму. – Милая, да если б я чего такое умела, я б давно рай бабий на земле сотворила!..

Аню перестали при любой возможности увозить к культурной Зое Ивановне. Вторая бабушка, конечно, тихонько негодовала, но внучка все-таки бывала у нее регулярно, так что возмущаться громко казалось неприличным. Через несколько лет Зоя Ивановна умерла, а повзрослевшая Аня ее почти не помнила – очки, кожа мягкая, как увядший персик, пепельные кудряшки и вечные попытки научить внучку правильно раскладывать на скатерти столовые приборы.

Мама ни разу больше не заводила с Аней бесед о том, что бабушка старенькая и выдумывает, но классу к третьему Аня сама перестала безоговорочно верить бабы-Катиным рассказам. В школе были другие рассказы – про бедных детей и пионеров-героев, и были еще цифры, физкультура, большой гербарий в шкафу, классная руководительница Татьяна Дмитриевна, близорукая и решительная, и другие девочки, которым Аня как-то попробовала рассказать про того, кто похож на умершего человека и выпивает память, но ее сначала не поняли, а потом посмеялись. Рассказывала Аня неинтересно, путалась, а когда забывала что-то – обиженно поднимала брови «шалашиком», как мама, злилась и начинала смешно махать руками.

Сначала Аня нашла выход в двоеверии – дома бабы-Катины истории обрастали плотью полуправды, а в школе Аня совершенно не верила в эти дремучие детсадовские сказки (так учительница назвала страшилку про «зеленые глаза», которую, захлебываясь от восторга, протараторил двоечник Олег – вместо того чтобы рассказать интересный случай из жизни, как задали). А потом, классу к пятому, она почти совсем перестала верить в тех, кто катается ночью, как шарик, по чердакам или дремлет в канализационных люках. И это «почти» оставалось с ней еще долго, потому что она, как и Лиза в свое время, все-таки чуточку, самым краешком верила.

К тому времени, как Аня закончила школу и поступила в педагогический институт, баба Катя совсем перестала рассказывать ей истории. И посматривала на Аню, белесую, пресную, скучную какую-то на вид, сочувственно и немного разочарованно. Хотя, может, Ане так казалось. Себе-то она представлялась гораздо более некрасивой и неинтересной, чем была на самом деле, поэтому считала, что в ней разочаровался практически весь мир. Но мир, а в особенности населявшие его юноши, просто не обращал на нее внимания. А вот Аня в мире, оказавшемся совсем не чудесным и не дружелюбным, и, понятное дело, не населенным удивительными чудиками, разочаровалась, как она тогда считала, совершенно. В восемнадцать лет такое случается сплошь и рядом.

Аня в общих чертах помнила многие бабы-Катины истории, а со всеми подробностями, без провалов и путаницы – только две. Во-первых, про тень, которая забежала к ней в комнату из леса. В реальность самого крадущегося теневого пятна Аня, разумеется, давно не верила – она знала, как тесно сплетаются в детских воспоминаниях сон, явь и выдумки. Она, как начинающий педагог и любитель скорее популярных, чем научных трудов по психологии, восхищалась бабой Катей – до чего же ловко и изобретательно она избавила внуку от классического «ночного чудовища».

А еще Аня очень хорошо запомнила историю про того, кто водится в метро.

Баба Катя на метро никогда не ездила. Пешком, на автобусах-троллейбусах с тремя пересадками – как угодно, только не в подземку. Лиза и Аня на это внимания не обращали – мало ли, что бывает, некоторые, к примеру, в лифте ездить боятся, а некоторые – наоборот, по лестнице ходить. А Семена вообще никакими материнскими причудами удивить было невозможно.

Как-то Аниному классу дали задание – расспросить старших родственников и записать их истории про войну. Аня, конечно, пришла к бабе Кате. Достала тетрадь, ручку и замерла в ожидании чего-то грохочущего, ревущего моторами и героического.

Баба Катя подумала, поскребла затылок под платком и безо всяких предисловий начала:

– От бомбежек тогда по ночам в метро прятались. Поставят вот так много-много кроватей рядами – мы и спим. Только я-то не спала почти – навиделась всякого.

В город тогда кто только не набежал – их-то места разворотили, пожгли, людей побили, а им куда? И немцы с собой привели разных, своих... Люди с места стронулись – и эти стронулись, за ними, а кого и случайно прихватили. Я-то таких и не видала никогда, не знаю, как с ними и что. Страшно...

И вот лежим ночью, я по сторонам поглядываю. И вдруг вижу – идет приличный такой гражданин. Солидный, толстенький. И вроде как у него фонарик, освещенный он такой немного. Думаю – тоже прятаться пришел, а отъелся-то как, паек небось хороший отхапал. Не понравился он мне. Ходит и ходит, место никак не найдет, а фонарик вроде никому и не мешает, не просыпаются. И вот подходит он к одной женщине, через три койки от меня спала, молодая. Наклоняется. И вдруг вижу – не то лапки из него выросли, не то щупики такие, как у морских, много-много... И в бабу он ими как вопьется! Стоит, щупиками шевелит и наливаается, как комар, все толстеет и толстеет... Я застыла – страшно, никогда таких не видала, и сама-то молодая была, пугливая...

– Вампир... – прошептала Аня, давно забывшая и про тетрадку, и про задание.

– Нету вампиров, придумали, – раздраженно махнула на нее рукой баба Катя. – Я заснула потом, со страху, что ли. Не видала, куда он ушел. А с утра на женщину ту смотрю – зеленая, круги под глазами, губы высохли, идет – за стенку держится... И потом я этого еще два раза видала – после войны уже, и все в метро. Первый раз он к молодому человеку присосался, подкрался сбоку и щупиками своими – цоп! Я опять напугалась, дурища. Стою и глазами только хлопаю. Три остановки так ехали. А второй раз в вагон захожу и вижу – он прямо у дверей, к деду прицепился, крепенькому еще. Дед сереет прям, а этот стоит, наливаается. Довольный. Тогда Лиза тобой брюхатая ходила, я и думаю – а если вот к ней так? Нашло на меня что-то. Подхожу и говорю ему шепотом: «Я тебя вижу!». Он щупиками задергал, скорчился – и как не было его. Сгинул. Ну и дед от меня, конечно, шарахнулся, тоже услышал. Да я привыкшая. Но больше видеть этого не хочу, лучше на автобусе, там я всех знаю, – и баба Катя засмеялась.

Аня, хоть уже и почти не верила в бабушкины истории, все-таки уточнила:

– Так он боится, что его заметят?

Баба Катя кивнула:

– Так и скажи ему, если встретишь, не дай бог: «Я тебя вижу». Он соки из человека пьет. А откуда взялся – кто его знает. Может, пришлый, может, от людей, а может, выкопали его, когда метро рыли...

Баба Катя умерла вскоре после того, как Аня закончила институт.

За полгода до смерти у нее, давно и полностью седой, начали вдруг снова расти волосы своего, молодого цвета. И Аню совершенно не удивило то, что когда-то баба Катя, оказывается, была рыжая – хотя кожа у нее вовсе не розовая и не веснушчатая. Огненная паутинка опутывала почтенную седину, становясь все гуще и гуще.

– В детство впадаю, – смеялась баба Катя, щуря темные глазки, вокруг которых теперь тоже топорщились коротенькие, солнечно-рыжие ресницы.

А потом, в жаркий летний день, баба Катя сварила сразу два супа – щи и «харчо», напекла пирожков, приготовила Сенину особую свинину и судака под соусом, насолела огурцов, разлила по банкам свежее варенье, которое остывало со вчерашнего вечера, перемыла посуду и отдраила всю кухню. Поздно вечером плюхнулась, раскинув руки, на свою кровать – так, что пружины занули, – и объявила семье, озадаченно следившей за ее кулинарными безумствами:

– Ну, вот и помирать можно.

Все, конечно, решили, что это шутка, но на следующий день баба Катя встать не смогла. Семен натащил к ней в комнату подушек, и баба Катя сидела, обложенная ими, как в кресле, и смотрела на суету вокруг себя с насмешливым любопытством. Врача велела не вызывать, сказала, что и близко не подпустит. Ей сварили какую-то необыкновенно диетическую кашку, но баба Катя отмахнулась:

– Лиза, не переводи продукт.

Потом она стала каждого вызывать к себе в комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз. Дверь требовала закрывать за собой плотно, чтобы и щелочки не осталось, и говорила тихо – Аня, конечно, пыталась подслушивать, но тщетно.

Сначала баба Катя говорила с Семеном, который вышел от нее растерянным и с красными глазами, тут же оделся и отправился куда-то «голову проветрить». Потом вызвала к себе Лизу, то есть, конечно, уже Елизавету Петровну, строгую и тихую, как монашка.

Наконец, настала очередь Ани. Она зашла в комнату, как в кабинет врача, волнуясь почему-то до спазмов в животе.

– Ты не бойся, – сказала ей баба Катя. – Успеешь еще.

Аня осторожно присела на край кровати. Горячая цепкая рука ухватила ее и подтянула поближе. Совсем рыжая баба Катя смотрела на нее из облака подушек с жалостью и с укором.

– Не слушала меня... И никто не слушал. Только мать твоя вдруг поверила, а проку от нее, – баба Катя усмехнулась, закинула руку назад – поправить подушку, – и Аня вдруг почувствовала нехороший старушечий запах, которым от сухой, юркой бабы Кати никогда прежде не пахло. – Нескладушка она. И ты нескладушка, а что ж я поделаю?..

Аня вздохнула.

– Нечего. Замуж выйдешь скоро, года через три. И не смотри, что сейчас никто не вьется, и на тебя глаз положат. А дети пойдут поздно. Вот как у Лизки. С темненькими мальчиками не гуляй, одни слезы от них будут. Темных людей вообще опасайся. Квартиру окнами на север не бери. Предложат уехать куда-нибудь – из города, а то в за границу – уезжай. Тут не твое место. Но предложат вряд ли, нескладушка ты... За отцом присматривай. Лизка – что она может, а ты присматривай. Как приклеенная с ним не сиди, еще чего, а так, по случаю, поняла? – баба Катя подмигнула.

– Поняла... Баб-Кать, может, тебе доктора все-таки, а? Может, ты переутомилась просто или простыла?

– А-а, иди ты... Шторы задергивай, на луну не смотри долго. Сготовишь что-нибудь, кости останутся – не держи в доме, выкинь или собакам вон дай. Гостям сладкое ставь, кто откажется – того опасайся. Еще воды опасайся и холода. Запомнила?

– Холода и воды, – покорно повторила Аня.

– А остального все равно слушать не будешь. А то много я б тебе сказала... Ну ничего, в детстве-то я тебе рассказывала, авось засело где-то там, в головке твоей глупой. Ну, иди. Все.

Аня встала, направилась к двери.

– Ань. Самое-то главное...

Она метнулась обратно, и баба Катя заговорщицки ей улыбнулась:

– Станешь жить отдельно – кошку заведи. У отца-то аллергия. Возьми котеночка. Кошка к тебе никого не подпустит...

Елизавета Петровна затеяла в доме страшную суету, то открывала все окна настежь, то закрывала и занавешивала, зеркала снимала, а потом вдруг стала срочно вешать обратно на стены, причем как-то по-особенному, чтобы образовывались «зеркальные коридоры». Расстроенный Семен ругался, требовал уважать покой больной матери, но гвозди забивал, потому что из бабы-Катиной комнаты доносилось:

– Пусть ее. Мне и так покойно.

Дело было в том, что Елизавета Петровна где-то прочиталась и наслушалась, будто обладающие тайным могуществом, видящие невидимое и знающие неведомое старухи, знахарки и целительницы, к которым она упорно причисляла бабу Катю, умирают очень тяжело, если не создать в доме какие-то особые условия для благополучного исхода их души. Елизавета Петровна поспешно двигала мебель, веник зачем-то прислонила в углу вверх ногами, на всех подоконниках выставила банки с водой, оставляла распахнутой входную дверь, которую потом захлопывали продрогшие от сквозняка муж и дочь. А еще она вспомнила, как читала где-то, что в особенно тяжелых случаях приходилось снимать крышу избы, чтобы душа таинственной старухи смогла наконец покинуть тело, и совсем впала в отчаяние.

Баба Катя, со всеми поговорив и все уладив, умерла на четвертый день своей странной болезни, во сне, тихо, безо всяких мучений, необычных явлений и снятия крыши. Темное личико ее было спокойным и как будто довольным.

Людей на похоронах было мало, сын и невестка плакали, а Аня молчала и думала – что же за человек была баба Катя, жалела, что не догадалась ее об этом расспросить. Она даже не знала точный бабушкин возраст. И еще ей было немного обидно, что ее и маму, так преданно бабу Катю любившую, в прощальном наставлении называли «нескладушками».

В общем, мысли были для таких обстоятельств самые обыкновенные, необыкновенной была сама баба Катя, и это огорчало Аню больше всего.

После этого Аня много еще думала о своей «ненастоящей» бабушке, вспоминая ее, наверное, даже чаще, чем сын и невестка. То баба Катя казалась ей довольным матриархом, окруженным почтительной семьей – довольным и умиротворенным настолько, что можно было и почудить. То Аня решала, что баба Катя была прирожденной сказительницей, появившейся на свет слишком поздно, когда сказки и былички уже не слушали, а записывать их она то ли ленилась, то ли не умела. Или действительно не все в порядке было у бабы Кати с головой, фантазии буйствовали в ней и ветвились, а бабушке ничего не оставалось, как пересказывать их кому придется, чтобы самой в них не затеряться. А иногда Аня думала, что начинать надо совсем с другого – с того, что любящий бабы-Катин сын был приемный, почтительная семья – вроде как взятой напрокат, и на всем свете у бабы Кати не было ни одной родной души. Ведь и сама Аня называла ее про себя «ненастоящей бабушкой» – а иногда, может, и вслух называла, в детском неведении. Может, любила баба Катя всю жизнь своего тонкошеего мужа и мечтала о той семье, которой у них не получилось, потому и плевалась в телевизор на каждого деятеля, обкатанными словами воспевающего «подвиг солдат, добровольно ушедших на фронт»:

– А ты сам пойдя. Пойди да и убейся. Жалеть не будем, это я обещаю.

И может, от одиночества и выдумывала баба Катя вместо этого неправильного мира свой – с чудиками, с приметами, со своими особыми законами. Ее мир был справедливым. Нужно было только соблюдать его законы – и все шло хорошо, и мир работал правильно.

Через два года после смерти бабы Кати, субботним вечером, после большого и окончательного скандала с очередным «темненьким мальчиком», Аня ехала домой. Вагон метро гудел и подпрыгивал, закладывало уши, пахло плесенью, горячим железом и немытым телом, но Аня, как любой привычный пассажир, этого почти не замечала. Она читала книгу про то, как принять себя такой, какая есть, полюбить, выполоть из головы ненужные мысли, засеять нужные – и зажить новой, счастливой жизнью, едва успевая уворачиваться от сыплющихся отовсюду крупных удач. Книжка была криво переведенная, глупая, но Ане так хотелось исправить себя и свою жизнь, перестать быть скучной, заурядной «нескладушкой», что она хваталась за любую возможность.

У Ани над головой вдруг погасла лампа, буквы расплылись на посеревших страницах. Она оторвалась от книжки, чтобы посмотреть, нет ли в вагоне еще свободного места, с нормальным освещением. И увидела темного, плотного, круглоголового господинчика, который стоял примерно в полутора метрах от нее. Лицо господинчика было в тени от старомодной шляпы, и тень была почему-то такая густая, что казалось – лица там как будто и нет. Он склонился над сидящим парнем – у того уши были заткнуты зудящими наушниками, а сам он делал вид, будто спит, чтобы в случае чего никому не уступить место.

Но все это были обычные вагонные мелочи, кусочки гремящей подземной жизни, которые замечаешь лишь краем глаза. Главным было то, что господинчик оказался многолап. Из его округлого тельца, пониже рук, торчали насекомо подрагивающие, покрытые редкими толстыми волосками хоботки – или щупики, как назвала их баба Катя. Щупики впивались в по-городскому бледное тело притворно дремлющего пассажира, беспокойно шевелились, и господинчик постепенно, мерными толчками набухал, становился плотнее и круглее. Парень недовольно подергивал носом и иногда чесался – рядом с теми местами, куда впились хоботки, не дотрагиваясь до них.

От изумления и страха Аня почувствовала, что ее внезапно отяжелевшее тело как будто стало полым, и там, внутри, сквозит ледяной ветерок. Руки и ноги ослабли и застыли, словно их только что слепили из влажной, холодной глины. Откуда-то возникло и скрылось тут же темное бабы-Катино лицо, вокруг которого топорщились непокорные рыжие волосы. Чудовища из выдуманного мира за клубились густо, как впервые за много лет потревоженная пыль на свету, заворчали, зашептали бабы-Катиным голосом.

И Аня вдруг успокоилась и рассердилась на многолапого господинчика. На несколько секунд она почувствовала себя храброй, особенной, все знающей наперед, своей в этом мире, которого, кроме нее, никто не замечает.

Аня закрыла книжку, встала, шагнула к господинчику, склонилась к тому месту, где у него должно было быть ухо, и отчетливо, звенящим от тайной радости голосом сказала:

– Я тебя вижу...

И все исчезло, растворилось в полутьме вагона, под погасшей лампой – и вздрогнувший господинчик, и Анина храбрость и гордость от сознания собственной странной силы. А на место, где сидела Аня, плюхнулась какая-то толстуха и тут же раскрыла свежий журнал про лучшую жизнь.

Аня не помнила, как дошла домой. Папы еще не было, на кухне тихо позвякивала посудой Елизавета Петровна, за последнее время ставшая совсем похожей на молитвенницу и постницу – юбка и глаза в пол, а на лице выражение одновременно и смиренное, и осуждающее. Со стены на Аню опять остро и пронизательно глянула баба Катя – с большого портрета, повешенного Семеном год назад по настоятельному требованию жены.

В уличной обуви, спотыкаясь, Аня прошла на кухню. Мама неодобрительно посмотрела на ее ноги. Аня жадно выпила воды прямо из графина и спросила:

– Мам, а баба Катя... она правда ведьма была?

– Баба Катя была святая, – строго ответила Елизавета Петровна.

Забывтый человек

Было это недавно, где-то в середине нулевых: еще достаточно молодая мать-одиночка Лида получила по наследству комнату в огромной коммунальной квартире. Комнату эту ей завещала сестра бабушки – бывшая красавица, бывшая

оперная певица (не слишком выдающаяся), а в финале своей долгой жизни – просто кокетливая старуха, относящаяся к своему крупному телу с чрезмерным почтением. Детей она не нажила, зато сохранила цепкий, не по-женски острый ум, который даже возрастные сбои давал какие-то эффектные, театральные, из шекспировских сцен безумия – впрочем, случалось это не так уж и часто. И вот, угасая от продолжительной болезни, старуха приняла дальновидное и благородное решение: дать молодой и тоже неудачливой родственнице Лиде возможность пожить «своим домом».

Лида жила на тот момент в родительской квартире, вместе с дочкой, бабушкой, мамой, папой и младшим братом, который, в свою очередь, жил там с супругой, причем жил бурно и скандально. Квартира была небольшая, из звонких бетонных плит, с низкими потолками и, конечно, с видом на лесопарк. Все семейство сосуществовало в ней с трудом и с отвращением, особого накала взаимная неприязнь достигала по утрам. В ссорах самым хлестким словесным ударом было: «Да когда ж ты съедешь!», но съезжать было некуда и не на что.

Лида принадлежала к тем скромным и пугливо-неприступным женщинам, которые в ранней молодости каким-то загадочным образом, между учебой на «пятерки» и помощью маме по хозяйству, умудряются забеременеть от какого-нибудь сомнительного типа. Причем в этом случае тип был настолько сомнительный, что его посадили вскоре после рождения Лидиной дочки. Не за это, конечно, посадили, а за разбойное нападение.

В общем, появление на свет тихой и слегка лопухой Ксени было окружено мистикой и тайной. Ксене уже исполнилось одиннадцать лет, она хорошо училась и больше всего на свете любила толстые тетрадки, постоянно в них что-то записывала или рисовала, и даже компьютер ее не прельщал. Жизнь в туго набитой квартирке на окраине обычно плохо сказывается на таких задумчивых и небойких детях.

Так что сестра Лидиной бабушки придумала мудро и хорошо. Правда, регулярно сообщая об этом решении по телефону самой Лидиной бабушке, она иногда заговаривалась и сокрушалась о чем-то непонятном:

– Шумит по ночам. И днем шумит... Спать плохо стала. Ты девочкам скажи – пусть не слушают...

Что шумит – она так и не объяснила, а позже тема бреда у нее сменилась: в последние несколько недель перед смертью в нем фигурировали какие-то мотки пряжи, которые она постоянно искала, и мужчины, приходившие в гости через стену.

Лида, надо сказать, и не знала, что коммунальные квартиры еще существуют – тем более в центре города, где за каждый квадратный сантиметр с визгом дерутся серьезные люди. Но дом номер три стоял себе в незаметном переулке – шестиэтажный, очень старый, с выступающими ребрышками щербатых кирпичей, сливочно-желтый, неровно отрезанный кусочек прошлого. В доме было две коммуналки и несколько отдельных, персональных квартир – с высокими, протекающими даже сквозь евроремонт потолками. Жили здесь одинокие старушки, несколько невыносимо учтивых коренных семейств и какие-то неизвестные художники, музыканты – словом, богема, ценители старины, оригинальности и вообще «атмосферы». Их было немного, этих жильцов. Они волновались о дальнейшей судьбе дома и все пытались записать его то ли в архитектурные, то ли в исторические памятники. А пока он стоял, прекрасный и бесполезный в своей древности.

Прошло довольно много времени, прежде чем удалось оформить все документы. Родители за освобождающую их территорию Лиду радовались, брат завидовал и считал, что его обошли. Сама же Лида сначала побаивалась будущих соседей по коммуналке – в историях о такой вынужденной совместной жизни, которые она слышала или где-то читала, часто присутствовали плевки в борщ, стекла в тапках и ночные попытки выломать кому-нибудь дверь. Но соседи – точнее, соседки – оказались безобидными ветхими существами. Все они были бывшие – коротенькая Зоя Федоровна, например, оказалась бывшей медсестрой, похожая на бульдожку Вера Яковлевна – бывшей учительницей немецкого языка, а невесомая Надежда Павловна – бывшей балериной, из-за чего она очень сдружилась с покойной бабушкиной сестрой, бывшей певицей. Познакомившись с Ксеньей, они сразу одарили ее шоколадными конфетами и теми разноцветными сахарными шариками, которые раньше в любой приличной семье хранились на верхней полке шкафа, чтобы дети не достали. В комнатах бывших старушек было много пыльных кружев, портретов маслом, фотографий и растений в горшках.

Лида и Ксения, въехав наконец в новое жилье, были поначалу так поражены его огромностью, что даже ходили тихонько, как в музее. Ксения сразу записала в какой-то из своих тетрадок, что «раньше люди жили очень просторно».

На головокружительной высоте желтел облупленный, украшенный пятнами от протечек, абсолютно недостижимый потолок. Одно пятно было зеленоватым. Там, как видно, появилась одноклеточная жизнь.

Обои на стыках лохматились, как береста, и рисунок их стал уже непонятен. На стенах висели пейзажи работы неизвестных живописцев – с пылью и шерстинками, налипшими на шершавый рельеф мазков. Еще тут были репродукции, календарь за позапрошлый год – с котенком в корзинке, – и над самой кроватью, жуткой и продавленной, висел фотопортрет покойной хозяйки комнаты. На нем она осталась относительно молодой – лет тридцати пяти, – густо, как раньше говорили, намазанной, неестественно повернутой телом анфас, а лицом – в профиль. Над черно-дымчатым воротником скорбно и томно нависал ее внушительный нос.

Шторы на огромном многостворчатом окне можно было двигать только с помощью специальной палки, иначе обрывались крючки. На широком подоконнике стояли горшки с толстенькими, неживыми какими-то фиалками – после смерти хозяйки их приютили соседки, а теперь вот вернули, бодрыми и похорошевшими.

А еще тут был стенной шкаф. Сначала Лида растерялась, увидев в одной из стен обычную деревянную дверь – почти такую же, как входная. Она решила, что дверь ведет в соседнюю комнату, и немного расстроилась – ей так хотелось своей, изолированной жизни. Но, приоткрыв дверь, Лида радостно и облегченно выдохнула – там был крохотный, в полшага глубиной закуток, слишком незначительный, чтобы носить гордое имя кладовки. На полках в стенном шкафу хранились осиротевшие запасы муки и гречки, которые мирно уживались с мотками ниток и веревок, тряпочками, коробочками и другой мелочью. Пахло оттуда сложносочиненно.

Ксения, увидев впервые стенной шкаф, чуть не задохнулась от восторга и от уважения к древнему мышинному убежищу. В шкафу можно было спрятаться ото всех и жить. Или сделать тайник. Или просто закрыться и терпеть, пока духота и темнота не выгонят наружу.

Это была самая чудесная вещь в квартире.

По коридору можно было кататься на велосипеде, причем места хватило бы и для нескольких собак, которые непременно должны сопровождать велосипедиста. Несмотря на размеры, коридор был темным и извилистым. Он изобилдовал неожиданными поворотами и углами, какими-то то ли нишами, то ли просто тупичками, и все это было заставлено обувью, тапками, ведрами, лыжами и древней, перекосившейся мебелью. И когда путешественник, получив многочисленные синяки, уже отчаивался, уже терял надежду вновь увидеть солнце – коридор победно завершался огромной, как бальный зал, общей кухней. Здесь в любое время что-то шкворчало на страшной, ржавой плите. Иногда старушки кипятили на ней белье, помешивая его обломком лыжной палки. За освященными вековыми традициями бытом одобрительно наблюдали крупные тараканы.

Денег на ремонт у Лиды не было, да и бестактным казалось беспокоить переменах трагически глядевшую со стены черно-белую бабушкину сестру. Повесили новые шторы, заменили кровать, поставили диванчик для Ксении, платяной шкаф. Еще кое-какая мебель въехала в комнату, и главным анахронизмом стал, конечно, компьютерный стол. Компьютером Лида дома пользовалась редко, и так болела от него голова после работы. Телевизор решила купить потом.

Лида боялась, что даже такая расточительно огромная комната окажется тесной после того, как занесут всю мебель. Она умела захламлять пространство. Но все разместилось удачно, и очень помог стенной шкаф – в него отправились все ненужные на данный момент мелочи, которые обычно и создают беспорядок, занимая слишком много места.

Прошло несколько месяцев. Лида работала секретарем, уходила рано, возвращалась поздно, отупевшая от телефонных звонков и компьютера. В выходные или отсыпалась, или шла с Ксенией на целый день гулять – изучать окрестности. Оказалось, что тут столько замечательных двориков, и парк с прудом, и сумрачные переулочки, как будто ведущие обратно в двадцатый век...

Ксения по будням жила своей жизнью – тихой и не по возрасту самостоятельной. В новой школе, поближе к дому, она освоилась быстро, домашние задания делала тщательно, учителям нравилась. Только продленку Ксения не любила, предпочитала идти после уроков домой. Она блуждала по квартире, потихоньку исследуя и запоминая ее, копалась в коридорном хламе, заходила к старушкам-соседкам. Соседки с ней нянчились, кормили обедом, чаще, чем положено, угощали сладостями и всегда о чем-нибудь рассказывали. Ксения сидела смиренно, грызла что-нибудь вкусное, и в ее оттопыренные уши струились, переплетаясь между собой, истории о прошлом бывших старушек, о прошлом дома, о черно-белом времени, залитом ослепительным светом пустынного солнца. Иногда эти истории были просты и понятны, а иногда – пробегала какая-то рябь, и Лена становилась Катей, а потом Настей, и несчастья предчувствовались за несколько дней, и сын не получал высокую должность, хирел и спивался, потому что Лена-Катя-Настя навела на него порчу (Ксения раньше не слышала про порчу, и ей казалось – это что-то вроде плесени).

Однажды Лида пришла с работы гораздо раньше обычного. Отравилась чем-то, наверное салатом в столовой, и живот скрутило в тугую горячий комок.

Ксения уже вернулась из школы и теперь, устроившись на широком подоконнике, рисовала что-то в своей тетрадке. Насидевшись в туалете, Лида, смущенно кряхтя, улеглась на кровать. Обычно, приняв горизонтальное положение, она почти сразу же засыпала, но сейчас мешали тошнота и бурчание в животе, поэтому Лида просто лежала, закрыв глаза.

И вскоре она услышала какие-то странные звуки. Сначала казалось, что это шорох штукатурки, потихоньку осыпающейся под обоями, но потом Лида стала различать какие-то постукивания, поскрипывания, позвякивания. Вот что-то тихонько задрезжалось, точно потрясли баночку с орехами – вроде той, что хранилась в стенном шкафу. Вот прошуршало еле заметно. Вот стукнуло, а потом щелкнуло, будто что-то переломили.

Лида, пересилив себя, встала, подошла к стенному шкафу и распахнула дверь. Шкаф был рядом с кроватью, и Лиде казалось, что звуки доносятся именно оттуда. Она была почти уверена, что знает, кто именно их производит: наглая бархатная мышь, забравшаяся в припасы на полках.

Но мышей в шкафу не оказалось. Лида проверила мешочки с макаронами и гречкой, банку с орехами, пакетик с чем-то неопознаваемым, но лечебным – мама дала...

И тут как будто прямо за внутренней стенкой шкафа, к которой крепились полки, в полушаге от Лиды раздался новый звук – тихое, тягучее пение пружин. Лида сразу этот звук узнала, он напомнил о лете, о детстве – так скрипела, когда на ней ворочались, высокая старая кровать, доживавшая свой век на даче.

Удивленная Лида еще несколько секунд прислушивалась, потом посмотрела на Ксению. Ксения, видимо, никаких посторонних звуков не замечала – она продолжала рисовать.

– Не грызи губы, – сказала ей Лида.

С этого дня Лида и начала прислушиваться. И постепенно поняла, что старая коммуналка, казавшаяся невероятно тихой после гвалта и грохота родительской квартиры в панельном муравейнике, на самом деле полна самых разных домашних звуков – дневных и ночных. Ворковали голуби на карнизе. Шкворчало, звенело, гремело на кухне. Шаркали тапки, телевизоры бормотали новости, в трубах журчало и ныло, скрипели древние, больные половицы, визжал кран в ванной. Постоянно жужжали старушки-соседки, обсуждая, наверное, болезни, родню, новости, трубы, половицы, кран, кухню... Иногда откуда-то извне – то ли с верхнего этажа, то ли из подвала – доносилось вдруг глухое «бу-бух!». Видимо, что-то падало, а может, возникали новые трещины в толще самого дома. Как ему ни повезло остаться островком нежно-желтой древности, лакомым кусочком старого центра, на который приходили смотреть городские романтики, – он свое отживал.

Во всем многообразии домашнего шума Лида скоро научилась различать особые звуки, идущие то ли из-за стены, то ли непосредственно из нее. Иногда это были звуки одиночные: что-то вдруг щелкнет, звякнет, или будто маленький тяжелый мячик прокатится по полу. А иногда там происходили какие-то длительные процессы – часами слышалось шуршание, будто штукатурка осыпается, мерное постукивание через равные промежутки времени. Порой Лида различала и так удивившее ее пение невидимых пружин.

Сначала она подозревала во всем мышей, хотя соседки клялись, что год назад их потравили, норы заделали, и с тех пор ни одного грызуна в квартире не видели. Потом ей постепенно пришлось признать, что и она не встречала тут ни одной мыши, да и звуки слишком разнообразны и на мышиную возню совсем не похожи. И чем внимательнее Лида вслушивалась, тем больше ее разбирало любопытство – что же может шуметь там, где ничего нет?

Ведь если бы за этой стеной обитала одна из старушек-соседок, Лида бы и внимания на шорохи не обратила. Но жильцов там не водилось, там вообще, похоже, не было ничего – кроме разве что стенного шкафа. Дверь Лидиной комнаты была последней перед поворотом на кухню, хотя от нее до угла оставалось еще добрых четыре метра глухой коридорной стены. Лида прикинула примерно, где проходит граница ее комнаты, и опять удивилась – выходило, что либо та самая стена, из которой доносятся звуки – трехметровой толщины, либо там все-таки есть (или было когда-то) маленькое помещение – размером с чулан.

Но Зоя Федоровна, жившая тут дольше всех, сказала, что никакого чулана не помнит, а трехметровая стена – это вполне может быть, раньше строили на совесть.

Однажды ночью что-то разбудило Лиду – может, свет автомобильных фар или уличный шум. Ворочаясь в постели и уже снова задремывая, она услышала, как за стеной опять что-то шуршит и постукивает. Недавно у Лиды появилась новая версия – что там, наверное, находится какое-нибудь техническое помещение, шахта или что-то вроде этого. Версия выглядела очень правдоподобной – мало ли, какой шум издает оборудование, которое поддерживает в доме жизнь...

Неожиданно Лида заметила, что звуки изменились. Теперь над ухом у нее раздавалось негромкое, мерное «туп-туп, туп-туп...» – точно где-то очень далеко выбивали ковер.

Любопытство мешало уснуть. Поколебавшись немного, Лида сбросила одеяло, села в постели, приникла к холодным обоям ухом и затаила дыхание. Так было слышно гораздо отчетливей, звуки точно ей не чудились: «Туп-туп, туп-туп...».

Лида наконец поняла, на что это похоже. Шаги. Будто кто-то бродит по комнате из угла в угол.

Если бы это было днем, у Лиды появилось бы множество успокаивающих предположений: например, что рабочие из ЖЭКа поднялись в таинственное помещение из подвала – что-нибудь починить, подкрутить, – или что она слышит эхо шагов одной из соседок, бредущей по коридору. Но часы показывали 2.45, дом давно спал.

Лида снова прижалась к стене ухом. «Туп-туп-туп...». Звук как будто удалялся. Потом наступила краткая пауза.

Проныли пружины, что-то скрипнуло, звякнуло – и стихло.

С этой ночи Лида стала побаиваться звуков из-за стены. Каждый раз, вслушиваясь в них уже по противной привычке, она надеялась, что загадочный шум вдруг возьмет и исчезнет, растворится в окружающих звуках, окажется миражом. Ведь сколько вокруг рассказывали историй о том, как нервная старушка обвиняла соседа сверху в регулярном забивании гвоздей по утрам, а оказывалось, что это подросток из соседнего подъезда, да еще и с первого этажа, слушает на рассвете любимую музыку. Вот и стуки-шорохи, смутно беспокоившие Лиду, могли ведь доноситься совсем не оттуда, и производить их могло что угодно...

И каждый раз, когда Лида уже была готова выдохнуть с облегчением, когда в квартире слышались только шарканье по коридору, звон на кухне и журчание в ванной – какой-нибудь быстрый шорох обязательно проносился то ли за стеной, то ли в стене, совсем близко, как будто под самыми обоями.

К счастью, у Лиды была скучная, утомительная в своей монотонности работа, и хозяйством надо было заниматься, да и Ксения что-то нахватала в школе злых скрюченных «троек». В общем, некогда было слишком уж забивать себе голову глупостями.

Наступила зима, и в первые декабрьские выходные завьюжило так, что Лида с Ксеньей не пошли, как всегда, гулять по окрестным переулкам и дворикам. Снег летел горизонтально, будто выпущенный из снежной пушки, на улице мокрые и замерзшие люди натыкались на стены домов и друг на друга, ругались и чаще обычного заходили в магазины, надеясь там переждать метель.

Лида с Ксеньей делали уроки, читали, потом пили чай, потом Ксения старательно рисовала акварелью вид из окна: бело-желтое марево, а в нем – апельсиновый шар фонаря.

Потом хлопнула входная дверь, и тоненький, умильный голосок запел в прихожей: «А где это наша Ксюшечка? А кому это я гостинчик принесла?». Бывшая медсестра Зоя Федоровна, сохранившая особое медицинское умение говорить сладко, по-лисьи ласково, вернулась из магазина.

– Иди, иди, – разрешила Лида. Ксения вылетела в коридор, и вскоре из прихожей послышалось ее довольное попискивание.

Лида села на диван, бережно держа в руке еще влажный Ксенин рисунок. Все-таки хорошо, что у них нет телевизора. Ксене полезно, фантазия развивается, творческие наклонности...

Не по-хорошему уже чуткий слух уловил шуршание за стеной, и Лида придвинулась к ней поближе. Сверху на нее с безгловым удивлением смотрела бабушкина сестра.

В комнату вбежала Ксения, прижимая к груди прозрачный пакетик с конфетами «Мишка косолапый». Увидев знакомые сине-зеленые фантики, Лида успела удивиться, что эти конфеты, праздничную редкость из ее детства, оказывается, еще делают.

И в этот момент за стеной кто-то отчетливо, протяжно, с шершавой хрипотцой вздохнул.

Лида испуганно и беспомощно уставилась на Ксению, как будто это невозмутимая Ксения была мамой, а Лида – маленькой девочкой, которую одолели нелепые детские страхи.

- Ты слышала? - неожиданно для самой себя спросила Лида.

Ксения спокойно кивнула:

- Это Забытый человек, мама.

Ошарашенная Лида беззвучно и вопросительно шевельнула губами.

- Его забыли, - Ксения положила пакетик с конфетами на стол. - И теперь он там живет...

Немного смущенная пристальным и взволнованным маминым вниманием, Ксения рассказывала, водя пальцем по изрисованным страницам своей тетрадки:

- ...тут раньше была еще одна комната. И в ней жил человек. Он всегда тут жил, он был очень-очень старый. А потом комнату замуровали, а его забыли внутри...

- Зачем замуровали? - удивилась Лида.

- В ней плохо было жить, - пожала плечами Ксения.

- Но ты же говоришь, что там уже жил кто-то?

Ксения кивнула:

- Только никто не знал, что человек там живет. Он был ненужный. Он был старый и спал на кровати, а когда проснулся - дверь уже заделали. Там теперь шкаф. А человека забыли внутри. С тех пор он всегда там живет. И не может выйти...

Лида помолчала немного, пытаясь постигнуть Ксенину логику, а потом решительно сказала:

- Нет, Ксень, это глупая история. И жуткая. Не придумывай такое больше.

- Это не я, - глянув на нее исподлобья, ответила всегда такая честная Ксения.

Выйдя вечером на кухню, Лида обнаружила там всех своих соседок. Три разнокалиберных старушки пили чай с вареньем и конфетами. Лиду бессловесно, одним звяканьем и бульканьем, пригласили к столу. Она села в уголок, долго стеснялась, жалобно поглядывая на умиротворенных, слегка вспотевших от горячего чая соседок, а потом совершенно невпопад сказала:

- Извините, я вот хотела попросить... чтобы вы вот... вы не рассказывайте, пожалуйста, Ксене всякие байки, ладно?..

Старушки смотрели удивленно.

- Это какие же, и вы нас извините, байки мы рассказываем? - с богемным ехидством поинтересовалась Надежда Павловна.

- Про человека... замурованного... - малиновая от стыда Лида подняла голову, не увидела понимания ни на одном из смятых жизнью лиц и совсем сникла. - Про комнату... у нас за стеной... что там жил человек, его замуровали, и сделали шкаф... и он там до сих пор... шумит...

- И действительно шумит? - оживилась Зоя Федоровна.

Лида кивнула.

- Это дом, - смилостивилась Надежда Павловна. - Ничего мы не рассказываем. А это дом шумит. Ему лет знаете сколько? В нем душа выросла. Вот и шумит теперь.

- Не дом, а домовик, - возразила Зоя Федоровна. - У меня тоже в стенке стучит. И иголки пропадают, тогда сказать надо: «Домовой-домовой...»

- Полтергейст, - отрезала Вера Яковлевна. - По телевизору передавали про один такой случай...

И на кухне еще долго и очень серьезно спорили о том, что же стучит и вздыхает за стеной, заставляя Лиду мучительно вслушиваться в домашний шум. Она смотрела на вспыхивающие вдруг круглыми слепыми глазами очки соседок, на их живые еще, но уже тронутые благостной отрешенностью лица, и постепенно понимала, что добродушные старушки – совсем не такие, как она. Что они – заодно с домом, потому что и они тоже – неровно отрезанные кусочки прошлого. И живут они в своем мире, где все уже было, где от времени «нарастает душа», где давно состарились дети и лысеют внуки, а дом шумит по ночам, как лес от ветра, и продолжает свое тайное, но законное существование за стеной не то домовой, не то и правда призрак Забытого человека...

И ее, Лиду, постепенно затягивает в этот мир.

Лида купила новые обои – с самым современным, по ее представлениям, рисунком, какими-то хаотично разбросанными по светло-оранжевому простору разноцветными прямоугольниками. Сняла со стены томную бабушкину сестру. Раздарила соседкам допотопные, по-стариковски напыжившиеся фиалки. Положила у двери коврик с какими-то мультяшными уродцами, которых даже Ксения, кажется, не признала. А потом, как появятся деньги, надо будет купить и телевизор, плоский, и ламинат постелить, и повесить на окно жалюзи – все только новое, только светлое, холодное, гладкое...

Рулоны новых обоев дважды с грохотом падали посреди ночи, вставали дыбом половицы, сбивая коврик, в течение трех дней три лампочки последовательно взорвались в люстре, упала книжная полка, остановились часы, и даже компьютер стал выключаться сам по себе. Все это было по отдельности так мелко, так легко объяснимо. Думать о том, что комната, кажется, бунтует против нее, Лида себе запретила.

Она втайне от Ксени просмотрела ее тетрадки, боясь, что найдет там портрет этого жуткого в своей нелепости Забытого человека или историю о нем. Но в тетрадках все было нормально – домики, цветочки, принцессы, кособокие зверьки и обрывки каких-то важных Ксениных впечатлений, записанные довольно плохим почерком. Разве что домиков было, пожалуй, многовато.

За стеной теперь стучало и шуршало громче, настырней и как будто злее. Лида купила беруши, но и с ними по ночам все-таки слышала то, что Надежда

Павловна назвала «шумом дома». Лида засовывала беруши поглубже и теперь уже под шум крови в ушах целенаправленно, злорадно даже мечтала о новой, пластмассово-электронной комнате, хромированной люстре, легкой и лаконичной мебели, и о гладком ламинате, и о большой телевизионной панели на проклятой стене, которая заглушит все раз и навсегда, и о том, как она забьет досками, замажет цементом, заклеит беззаботно-оранжевыми обоями дверь стенового шкафа...

А еще через несколько дней Лида простудилась так сильно, что пришлось вызывать врача, прописавшего постельный режим, «обильное теплое питье» и какие-то таблетки. Болело горло, кружилась голова, и Лиде казалось, что и сама она, и все вокруг немного распухло от жара. Лида лежала в постели и все думала в полудреме о том, что надо бы отодвинуть кровать от стены, чтобы ничего не слышать. Ей постоянно чудилось, что она встает, берет за край кровати, тащит ее на себя, и кровать такая легкая, только ножки почему-то сильно царапают паркет... Потом Лида просыпалась, кровать была на месте, а у изголовья на табуретке остывал принесенный Ксеньей чай с лимоном.

К вечеру опять громко и сердито завозилось что-то в стене, или за стеной, в неведомой замурованной комнате. И Лида, масляным пятном расплывшаяся по поверхности жаркой дремы, вдруг отчетливо эту комнату увидела. Темно-серые стены в многолетних слоях пыли и паутины – нельзя было понять, прикасались ли к ним когда-нибудь человеческие руки. А если прикасались – это было невероятно давно, много слоев назад. Даже пауки, поколения безобидных домашних пауков, сплетавших эту паутину, давно передохли. Застывшие пыльные кружева на стенах казались каменными, все здесь было неподвижным и успокоившимся. Комната не боялась Лиды. Она пережила всех, кто селился рядом, все их драмы и радости, серые, как пыль, пережила плач и грохот войны, первый полет хрупкого теплого человечка в космос, первые взрывы в метро... Ее, наверное, и не замуровывал никто, в ней никогда не было ни окон, ни дверей, она была слепым внутренним органом дома. Ее не строили и не проектировали, она выросла здесь сама, потому что дом – когда-то новый и удобный, образцовое человеческое вместилище – давно ожил от старости и пустил глубоко в землю корни. Корни переплетались в коллекторах, трубах и тоннелях метро, тянули вверх непристойные соки старого центра, и, питаясь этими соками, в недрах дома кубическим плодом завязалась комната.

А может, права была Ксения, потому что в комнате, как она и говорила, стояла кровать. Пунктир кровати – тонкий железный каркас с пружинной сеткой. Лида долго всматривалась в нее, и постепенно кровать обрела весомость и прочность, а на сетке заворочалось что-то большое, серое, похожее на саму комнату – слепое и непонятное. И чем внимательнее Лида в него вглядывалась, чем подробнее представляла себе, какой он – Забытый человек, – тем шумнее он ворочался.

Нельзя кормить его своим воображением, подумала Лида. Страдальчески жмурясь, она снова начала строить мысленно свою новую комнату – прямо поверх этой, серой и слепой. Там не будет никакого стенового шкафа, даже намека не останется, а на стену можно положить слой какого-нибудь звукоизоляционного материала – сейчас таких много делают. Так, отгородившись, можно будет относительно спокойно дожить до того дня, когда коммуналку расселят перед сносом дома, а им с Ксенией дадут хорошенькую, ровную, маленькую, как спичечный коробок, «однушку» в нормальном панельном доме. Где-нибудь на окраине. Соседки говорили, что когда-нибудь это точно произойдет, ведь уже почти все коммуналки в городе расселили...

И вдруг новая Лидина комната задрожала, затуманилась, и вместо нее проступили очертания другой, замурованной, которой не должно было быть. И снова Лида, помимо своей воли, представила себе расплывчатого, огромного Забытого человека – точнее, его силуэт из дымчато-серого тумана, слишком высокий, со слишком длинными руками и шеей, с круглой и большой, как арбуз, головой. Лида видела, как он встает с кровати (ноют пружины), медленно (туп-туп-туп) идет к стене, за которой под горячим одеялом лежит она сама. И начинает бить по стене бесформенными кулаками, кидаться на нее всем своим колеблющимся телом. Летят во все стороны обрывки тончайшего паутинного кружева, и стена как будто понемногу поддается, и в Лидину комнату уже просачивается запах древней пыли.

– Мам, чай, – раздалось над ухом, и Лида проснулась. Над ней склонилась Ксения с чашкой в руке, темная сладкая жидкость капнула на подушку.

Лида взяла чай и облегченно вздохнула. Но спустя секунду, по привычке прислушавшись, уловила необычно громкий шум за стеной: стуки, шорохи, скрипы и даже как будто какое-то глухое рычание, которое, впрочем, вполне могло оказаться шумом далекого перфоратора.

– Он сегодня громкий, – кивнула Ксения. – Ему не нравится, что ты весь день дома.

И снова Лида дремала, и ей чудился серый длиннорукий силуэт в слепой комнате, где нет ни окон, ни дверей. Может, и правда жил здесь когда-то человек, который никому не был нужен. И его – слабого, старого, спящего – замуровали прямо в его собственной каморке. Все равно никто не будет искать. Может, он был классовой враг. И все эти годы он рос там, крепчал и наливался силой, как младенец в утробе матери...

Дверь открылась, и в комнату сунула стриженую голову Зоя Федоровна. Она посмотрела на стену, на покрасневшую спящую Лиду и, наконец, на Ксению, которая сидела за столом и рисовала.

– Стучит, – кивнула Ксения. – Бабушка Зоя, я что-то боюсь...

– А ну пойдем, – сказала растроганная Зоя Федоровна, у которой никогда не было внуков.

Вскоре Ксения вернулась с кружкой молока, поверх которой лежал большой кусок батона «Ароматный». Лида все еще спала. Ксения открыла стенной шкаф, поставила кружку на одну из полок, поправила ломтик хлеба и старательно, неторопливо поклонилась:

– Домовой-домовой, прими угощение, – и, уже закрывая дверь, тихонько добавила: – Ну, то есть не домовый, так положено просто...

Лида открыла глаза и, будто продолжая прерванный разговор, зашептала:

– Вот и переедем. Будем жить в нормальном доме... Вот поправлюсь и уедем... И чтобы не шумело. А то все шумит, шумит... – Лида всхлипнула.

– Уже нет, – возразила Ксения.

Лида прислушалась. За стеной действительно царил хрустальная тишина – видимо, она и разбудила Лиду, уже привыкшую к стукам и шуршанию.

- И я не хочу уезжать, - Ксения приложила к двери стенного шкафа раскрытую ладонь. - Хочу здесь жить. С ним. Он живой.

И изнутри в дверь шкафа громко постучали - трижды, с равным интервалом, полновесно и уверенно.

- Он живой... - повторила Лида и закрыла глаза.

- И он нас никуда не отпустит, - спокойно добавил из жаркой темноты Ксенин голос.

Петрушкин Лог

Женщина в махровом халате переставила пучки цветов в обрезанных пластиковых бутылках, взяла у водителя сигарету и сипло сказала:

- Не. Это вам еще через два поворота.

- Так мы только что оттуда, - водитель расправлял темными пальцами бумажные иконки, которыми кабина изнутри была покрыта, как налетом.

- Не. По той вон дороге, - торговка мотнула головой назад. - А там спросите.

- Указатели-то будут?

- Указатели? - щелочки торговкиных глаз расширились так, что толстые розоватые веки едва не треснули. - Сроду не было.

Автобус вздрагивал от топота, в загустевшем от долгой дороги воздухе висел визгливый детский смех. С задних сидений кладбищенски пахло красными гвоздиками, они лежали там в коробке. Петя уже стащил один цветок, оторвал нежную махровую головку и вставил в ноздрю Кириллу, который спал, вскинув

нос к потолку. Ленка раз десять сфотографировала его на мобильный. Анька-мелкая, Колька и Анжела играли в догонялки между рядами кресел, пригибаясь, когда учительница бдительно оборачивалась. Вася и Костик через карликовую колонку слушали модные речитативы – неразборчивые, как угрозы в подъезде, кроме припева, когда вдруг ударяло: «это мой район, моя жизнь, бейба, я покажу тебе небо, только держись». Света и Маша взахлеб обсуждали что-то и хохотали, а Света каждый раз томно запрокидывала голову, готовясь к поцелуям в шею, до которых осталось всего год-два. Катя читала что-то увлекательно-фантастическое, в напряженной задумчивости обгрызая щеки изнутри и забывая моргать. Кто-то жевал булочку из сухого пайка, кто-то дремал.

Автобус тронулся, качнулся, как верблюд, и пошел ровно, жадно заглатывая прохладный весенний воздух открытым люком. В салоне оживились:

– Едем, едем!

– Куда едем-то?

– Да надоело уже...

– Кто забыл, куда мы едем? – повысила голос Галина Ивановна, крутолобая, легко краснеющая, с небритыми ногами, казавшаяся детям очень старой и некрасивой, хотя ей было всего тридцать два, и вчера пьяный брат подружки опять к ней жался и объяснялся, смаргивая загустевшие слезы. – Кто замечание в журнал хочет?

– Не! Не! – заверещал автобус.

Галина Ивановна распотрошила лиловую папку, которую держала на коленях, достала подпорченный чернильными полосами лист и убежденным учительским голосом прочла:

– Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась Великая Отечественная война. Ваши прадеды и прабабушки героически сражались с врагом, жертвовали собой, чтобы спасти родные города, села и поселки городского типа...

Петя осторожно сунул красный зубчатый цветок Кириллу и во вторую ноздрю. Кирилл всхрапнул, проснулся и не глядя махнул кулаком, надеясь попасть в обидчика.

Оля смотрела в окно и представляла, как много лет назад было опасно ходить под безобидными чешуйчатыми елками, потому что кругом была война, липкая, темная и жгучая.

Вчера Колькина прабабка переспросила, выкатив на Кольку белопленочный глаз, который когда-то был блестящим и темным, как маслина:

- Петрушкин Лог? Что вдруг?

- Ну, бои там были, - сквозь овсянку отвечал Колька. - Наши немцев побили много.

- Это еще хрен знает, кто там кого бил! - отрезала прабабка. - А ты не шипи мне, не шипи, - прикрикнула она на маму, указуя ложкой в потолок, как перстом. - Петрушкин Лог оставьте. В парк бы поехали, а то в театр.

- Галина Ивановна сказала. К Дню Победы...

- Мужика б ей да детей, Гальке вашей. Скажи, не поедешь, баба Маня не велит...

- ...тяжелейшие бои в области велись за стратегически важную деревню Петрушкин Лог, оккупированную немецко-фашистскими войсками. Фашисты убивали и грабили население...

Артем сражался с орками в темном подземелье, освещенном факелами, которые можно было сбивать за дополнительные очки, и представлял, что бьет пылающим мечом немецких фашистов. Рома с завистью поглядывал через его плечо на темный экранчик консоли.

- Да-ай...

- Не мешай, еще уровень...

- В решающем бою за Петрушкин Лог погибло более двухсот проявивших массовый героизм советских солдат, они сражались за каждый дом, за каждый камень. Оккупанты были уничтожены.

- Все? - Катя оторвалась от книжки, а в голове ее все еще роились драконы и чародеи в струящихся одеждах.

- Все без исключения, - отчеканила Галина Ивановна, складывая листок с распечаткой.

- А наших сколько осталось? Или тоже все?

- Наших осталось очень мало. Но они самоотверженно удерживали Петрушкин Лог до прихода подкрепления.

- А те, кто там жил?

- Катя, - ласково сказала Галина Ивановна, - очень хорошо, что ты интересуешься. Я дам тебе потом статью почитать.

Кирилл пробрался между рядами и подсел к Кате, которая не доверяла мальчикам и брезгливо отодвинулась.

- Там никого не осталось, все сгорело, - сказал он, дыша на Катю копченой колбасой. - Деда там воевал. Из пустой деревни уходили.

- Давайте попросим Кирилла рассказать про его прадеда, - Галина Ивановна все-таки услышала. - Павел Никодимович участвовал в боях за Петрушкин Лог. У нас в школьном музее славы есть его фотография.

- Деда про войну мало говорит, - буркнул Кирилл. - Деда говорит: живем - и слава богу.

Олина мама должна была ехать с ними, от родительского комитета, но с утра проснулась с раздутым, хлюпающим носом и какими-то пятнами в горле. Про пятна сказал папа, посмотрев мамину глотку на свет и заставив сказать «эээ», а мама ворочала глазами и хватала папу за руку, когда он лез ручкой ложки слишком глубоко. Галина Ивановна посоветовала маме прополис, компресс с медом, капать в нос алоэ и сказала, что справится, класс небольшой, не то что раньше бывали.

А ночью, пока мама заболела, Оле приснилось, что они всем классом оказались в метро, в Москве. В Москве они были прошлым летом, ели картошку фри и смотрели музеи с большими картинами.

В метро были высокие потолки и белые мигающие лампы, как в школе. Класс стоял на перроне, сбившись плотной кучкой, а под потолком летали молчаливые голуби, и Оля думала: они не знают, что летают под землей.

Потом приехал поезд с пухлыми сиденьями, пустой и прохладный. Галина Ивановна стояла в дверях и считала по головам, чтобы все успели зайти. Поезд зашипел и сказал: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция Петрушкин Лог».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мечь (лат.).

Купити: https://tellnovel.me/bobyleva_dar-ya/nochnoy-vzglyad

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)